

Духовная проза

*Владислав Бахревский*

# АВВАКУМ



Духовная проза (Вече)

Владислав Бахревский

**Аввакум**

«ВЕЧЕ»

2010

## **Бахревский В. А.**

Аввакум / В. А. Бахревский — «ВЕЧЕ», 2010 — (Духовная проза (Вече))

ISBN 978-5-4484-7659-4

Роман «Аввакум» известного русского писателя Владислава Бахревского повествует об одной из знаковых фигур русской истории середины XVII века. Протопоп Аввакум – талантливый оратор и полемист, ревнитель «отеческой веры» и ярый противник никоновских церковных реформ, который чужд всяческих интриг и прямо отстаивает свои убеждения, однако в Москве, при царском дворе, свои порядки – там борются не за убеждения, а за власть. Если проповеди и призывы Аввакума созвучны тайным замыслам власть имущих, он может получить поддержку, а если нет – правдолюбцу уготован путь мученика. Роман «Аввакум» – это не только роман об одном человеке, но и панорамная картина русской жизни, детальная и яркая. Здесь показан и царь Алексей Михайлович со всем своим окружением, и его державные дела, в том числе войны со Швецией и Польшей, а также взаимоотношения с патриархом Никоном. Не случайно в 2011 году именно этот роман лег в основу сериала «Раскол».

ISBN 978-5-4484-7659-4

© Бахревский В. А., 2010

© ВЕЧЕ, 2010

## Содержание

|                                   |     |
|-----------------------------------|-----|
| Глава первая                      | 7   |
| Глава вторая                      | 47  |
| Глава третья                      | 82  |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 101 |

# Владислав Анатольевич Бахревский

## Аввакум

© Бахревский В.А., 2018

© ООО «Издательство «Вече», 2018

© ООО «Издательство «Вече», электронная версия, 2018

Сайт издательства [www.veche.ru](http://www.veche.ru)

\* \* \*

*Из Энциклопедического словаря*

*Изд. Брокгауза и Ефрона*

*Т. I, СПб., 1890*

АВВАКУМ ПЕТРОВИЧ – протопоп г. Юрьевца-Поволжского, расколоучитель XVII ст., род. до 1610 г.<sup>1</sup>

Происходивший из бедной семьи, довольно начитанный, угрюмого и строгого нрава, Аввакум приобрел известность довольно рано как ревнитель православия, занимавшийся изгнанием бесов. Строгий к самому себе, он беспощадно преследовал всякое беззаконие и отступление от церковных правил, вследствие чего около 1651 г. должен был бежать от возмущившейся паствы в Москву.

Здесь Аввакум, слывший ученым и лично известный царю, участвовал при патриархе Иосифе (ум. 1652) в «книжном исправлении». Никон заменил прежних справщиков, для которых греческие подлинники были недоступны, людьми действительно учеными. Никон и его справщики завели те «новшества», которые и послужили первой причиной возникновения раскола.

Аввакум занял одно из первых мест в ряду ревнителей старины и был одной из первых жертв преследования, которому подверглись противники Никона. Уже в сентябре 1653 г. его бросили в тюрьму и стали увещевать, но безуспешно. Аввакум был сослан в Тобольск, затем 6 лет состоял при воеводе Афанасии Пашкове, посланном для завоевания «даурской земли», доходил до Нерчинска, до Шилки и до Амура, претерпевая не только все лишения тяжелого похода, но и жестокие преследования со стороны Пашкова, которого он обличал в разных неправдах.

Между тем Никон потерял всякое значение при дворе, и Аввакум возвращен был в Москву (1663). Первые месяцы возвращения его в Москву были временем большого личного торжества Аввакума; сам царь выказывал к нему необыкновенное расположение.

Вскоре, однако, убедились, что Аввакум не личный враг Никона, а противник господствующей церкви. Царь посоветовал ему через Родиона Стрешнева если уже не «соединиться», то по крайней мере молчать. Аввакум послушался, но ненадолго. Вскоре он еще сильнее прежнего стал укорять и ругать архиереев, хулить четырехконечный крест, исправление Символа веры, трехперстное сложение, партесное пение, отвергать возможность спасения по новоисправленным богослужебным книгам и послал даже челобитную царю, в которой просил низложения Никона и восстановления иосифовских обрядов.

В 1664 г. Аввакум сослан был в Мезень, где он пробыл полтора года, продолжая свою фанатическую проповедь, поддерживая своих приверженцев, разбросанных по всей России,

---

<sup>1</sup> По другим источникам, годы жизни протопопа Аввакума: 1620/21—1682.

окружными посланиями, в которых именовал себя «рабом и посланником Иисуса Христа», «протосингелом российской церкви».

В 1666 г. Аввакум привезен был в Москву, где его 13 мая после тщетных увещаний на соборе, собравшемся для суда над Никоном, расстригли и проклинали в Успенском соборе за обедней, в ответ на что Аввакум тут же возгласил анафему архиереям. И после этого не отказывались еще от мысли переубедить Аввакума, расстрижение которого было встречено большим неудовольствием и в народе, и во многих боярских домах, и даже при дворе, где у ходатайствовавшей за Аввакума царицы было в день расстрижения его «великое нестроение» с царем.

Вновь происходили увещания Аввакума уже пред лицом вост. патриархов в Чудове монастыре, но Аввакум твердо стоял на своем. Сообщников его в это время казнили. Аввакум был наказан кнутом и сослан в Пустозерск (1667). Ему даже не вырезали языка, как Лазарю и Епифанию, с которыми он и Никифор, протопоп симбирский, были сосланы в Пустозерск. 14 лет просидел Аввакум на хлебе и воде в земляной тюрьме в Пустозерске, неустанно продолжая свою проповедь, рассылая грамоты и окружные послания. Наконец, дерзкое письмо его к царю Федору Алексеевичу, в котором он поносил царя Алексея Михайловича и ругал патриарха Иоакима, решило участь Аввакума и его товарищей.

1 апреля 1681 г. они были сожжены в Пустозерске. Раскольники считают Аввакума мучеником и имеют иконы его. В сфере раскола Аввакум действовал не только примером непреклонности убеждения; он – и один из наиболее выдающихся расколоучителей.

Аввакуму приписывают 43 сочинения, из которых 37, в том числе и автобиография его («Житие»), напечатаны Н. Субботиным в «Материалах для истории раскола» (т. I и V). Вероятельные взгляды Аввакума сводятся к отрицанию никоновских «новшеств», которые он ставил в связь с «римской блудней», т. е. с латинством. Кроме того, Аввакум в Св. Троице различал три сущности, или существа, что и дало первым обличителям раскола повод говорить об особой секте «аввакумовщины», которой на самом деле не было, так как взгляды Аввакума на Св. Троицу не были приняты раскольниками.

*Памяти Владимира Ивановича Мальшева*

## Глава первая

### 1

В благороднейшем мафории цвета темной спелой вишни, на одном подоле звезд больше, чем на небе, в багряных чеботах, но рожато – прости, Господи! – мордастая, щеки потные, три подбородка – такой вот представил себе Аввакум византийскую императрицу Евдоксию<sup>23</sup>, гонительницу святителя Иоанна Златоуста.

Ну а возле Никчемной вся ее послушная рать – Севериан Гавальский<sup>4</sup>, Феофан Александрийский и прочая, прочая сволочь.

У Аввакума слезы из глаз покатились.

– Ты что, батька? – изумилась да и перепугалась Анастасия Марковна.

Аввакум отложил книгу, утер ладонями слезы, вздохнул всей грудью, приохнув:

– Так, Марковна! Так!

– Книга, что ли, тебя разобидела?

– Нет, Марковна, не книга – жизнь. Жизнь, Марковна. Ох, жалко!

– Да кого?

– Людей хороших. Вот скажи ты мне, за что Евдоксия на Златоуста ополчилась? За какую неправду?

– Не знаю, батька! – Анастасия Марковна бросила чулок со спицами на сундук, покрестилась на иконы. – Не знаю.

– И знать нечего! Не было ее, неправды! – Аввакум вскочил на ноги. – За правду хорошие люди страдают. За одну матушку-правду! Всей вины святителя – вдову с детишками хотел защитить. Мужа ее, вельможу, Евдоксия кознями на тот свет спровадила и не насытилась. Без хлеба, без крова пожелала сирот оставить. Все они – багряноносцы – этакие! Живут мстью да лестью.

– Батька! – Брови у Анастасии Марковны тревожно вскинулись. – Уж не равняешь ли ты себя со святителем Иоанном?

– А вроде бы так и есть, Марковна! Чужую одежду на себя примерял... Эх, гордыня проклятушая – пожиратель людишек!

Снова взял книгу, поцеловал раскрытую страницу.

---

<sup>2</sup> ...такой вот представил себе Аввакум византийскую императрицу Евдоксию, гонительницу святителя Иоанна Златоуста. – Иоанн Златоуст (347–407) – святой, один из величайших отцов церкви, знаменитый аскет и проповедник, борец за права человеческой личности, и в особенности за бедняков. Архиепископ Константинопольский с 397 г. Его проповеди (известно их 804) сделали его чрезвычайно популярным, но восстановили против него влиятельные круги двора и высшего клира. В частности, императрица Евдоксия приняла за личное оскорбление обличения Златоустом роскоши и суетности константинопольских дам. Был созван собор из личных врагов Златоуста, который осудил его по самым мелочным и ложным обвинениям, и его отправили в заточение. Но едва успел он отбыть из Константинополя, как там случилось страшное землетрясение. Евдоксия увидела в этом знамение гнева небесного за гонения, которым она подвергла проповедника, и поторопилась возвратить Златоуста с большими почестями. Вернувшись, он не переставал громить пороки общества, и вскоре последовало второе, и уже окончательное, изгнание его с архиепископской кафедры. В 404 г. он был сослан в г. Кукуз (в Армении), потом в Питуунд (Пицунду), но по пути туда скончался 14 сентября 407 г. В Византии и на Руси был идеалом проповедника и неустрашимого обличителя, в том числе для Аввакума. Память Иоанна Златоуста 27 и 30 января, а также и 13 ноября (ст. ст.).

<sup>3</sup> Примечания см. в конце книги.

<sup>4</sup> Севериан, епископ Гавальский (в Сирии) – один из известнейших проповедников IV в. Имел влияние на императрицу Евдоксию. Сам Иоанн Златоуст уважал его и во время своих отлучек передавал ему управление епархией. Однако Севериан стал интриговать против Иоанна, который, узнав про то, лишил его права проповеди в Константинополе и настаивал на его удалении. Однако интриги Севериана закончились удалением Иоанна. Неблаговидные действия Севериана против Иоанна Златоуста заставили забыть о его проповеднической деятельности, о которой в свое время с похвалой отзывались Сократ, Палладий и др.

– Знаю, велик грех, но сладостно, когда Бог за обиженного наказывает!.. Днем Златоуста осудили, а ночью дворец потрясен был гневом Господним. Вот уж побегала, чаю, Евдоксиюшка, бабища дурная! Вот уж побегала! А после второго суда над святителем – опустошение и огонь пожрали храм Святой Софии, а самой Евдоксии была смерть. Полгода всего и тешилась, несчастная, своим гневом. А коли про меня, про нас с тобою, Марковна, подумать, то у нас многое похоже на жизнь святителя Иоанна. Златоуст за вдову заступался, так и мы, гонимые Иродом Московским, тоже за вдову понесли наказание, ибо Церковь наша ныне воистину – вдовица.

И обрадовался:

– Вот об чем ныне в проповеди скажу... Не осуждаешь ли меня, Марковна? Воюю – я, а шишки поровну.

– Не отступайся, Петрович! Ни от Бога, ни от себя, – сказала жена. – Мы тебе в крепость даны, а не во искушение.

– Ну и слава Богу! – Аввакум улыбнулся, снял с деревянного гвоздя шубу, шапку. – Пойду погляжу, подметено ли в храме. Воевода на вечерню обещался с княгиней.

Снег был еще новый, еще жданный после осенних хлябей. Сам себе радовался!

Придерживая шапку, протопоп глядел на крест своей Вознесенской церкви.

Нежные, прозрачные облака уплывали на запад, и казалось, луковка с крестом, как корабль морской, летела по волнам, да все выше, выше.

– Вот уж воистину корабль!

И вдруг осенило: Тобольск тоже ведь похож на корабль. Подняв купола и кресты, город мчит по воде и по небу встреч великому свету нового пришествия.

– Поплывем во славу Божию, обходя мели и одолевая бури! – сказал Аввакум и поднял длань с двумя сложенными перстами, веруя в истину, любя и радуясь миру.

В праздники Ионна Златоуста он всегда чувствовал в себе преображение. Он видел душу свою в строгих, прекрасных ризах, заранее приуроченных к торжеству. И хоть было то видение сомнительно, он не гнал его прочь, сверяя, равен ли он плотью духу своему, не простоволос ли перед Богом и людьми.

В храм Аввакум вошел легкий на ногу, с легким сердцем – и остолбенел. В правом углу, под иконою «Животворящий источник», прелюбодей зело расстарался на прелюбодеице.

– Господи! – воскликнул протопоп, невольно попятившись.

Вскочили.

У мужика морда красная от позора, в пол глядит. А бабище хоть бы хны. Юбка спереди под душегрею закатана, портки бабы на полу лежат.

– Да как вы додумались в церкви грех творить?! – всплеснул руками Аввакум.

Баба продела валеночки в порты и, не торопясь, туда-сюда виляя задницей, натягивала потайную – не на погляд же ведь! – одежонку.

– Не осужай! – А сама протопопу в глаза глядит, губы алые, зубы ровные, как снег блестят.

– Не осужаю, а не потакаю! – сказал Аввакум, отворачиваясь от бабы, вполне смутясь ее бесстыдством.

Мужик засуетился, в пояс стал кланяться и до земли:

– Прости Господа ради, протопоп! Сатана попутал! Я и не хотел в церкви, Бога боялся. Подружка моя больно смела.

Аввакум молчал, не умея взять в толк сие немислимое разгульятство.

– Смилуйся! – снова кланялся и кланялся мужик. – Баба ведь хуже вина, коли пригубил, не остановишься.

– Да ведь праздник нынче большой – Иоанна Златоуста, – с укоризной сказал Аввакум, – а вы прелюбодействуете.

– Ну, заверещал! – засмеялась баба, все еще стоя заголясь – веревки на портках подвязывала. – Напраслину, протопоп, на нас наводишь. Ишь небылицу затеял – прелюбодеи. Он – брат мне. А в церкви мы Богу молились.

– Враг Божий! – Аввакум аж ногою топнул. – Да ты вон веревку все еще на портках не подвязала. Сами вещи тебя обличают.

Баба затянула на шнуре бантик, подняла руки, и юбка наконец закрыла все ее прелести.

– Да где ж они, вещи твои, протопоп! Ку-ку! – И захохотала.

В ярости Аввакум выскочил из церкви, крикнул церковного служку и вместе с прибывшим псаломщиком и отцом дьяконом отвел прелюбодеев в Воеводский приказ.

Повеселил протопоп приказную строку. Всяк пришел поглазеть на горемыку-любownika. Возле него толпились, а глазами-то жрущими – на бабу. Лицом чистая, светлая, в глазах загадочка с усмешечкой. Сиськи и под шубой стоймя стоят. Высокая, стройная. С такой не согрешить – превеликая оплошка. Сидела баба на лавке свободно, товаром своим не похваляясь, но цену ему зная.

Сняли с любодея порты, смеясь, стегнули пяток раз.

Отпускали мужичка с напутствием:

– Поделом тебе! Ишь, день с ночью попутал.

– Ты шишку-то еловую кушаком прихватывай. Опять до шлепов доведет.

– Эх! – молодецки почесывали в затылке. – Ради таких баб любые шлепы потерпеть можно.

– Не хочешь быть битым – делись. Иная сучка краше денег.

Аввакум про то веселие не ведал. Сидел у приказчика Григория Черткова, товарища по должности Ивана Струны. А дьячок Антон, глядевший на казнь прелюбодея, не стерпел игривых слов приказных ярыжек:

– Кобель на кобеле, ржут по-лошадиному! Распустил вас Иван Струна, потому как и сам кобель. Ни одной сучки не пропустит... Стыда у вас нет! На бабу, как на пряник, облизываются.

Злость отца дьякона только пуще развеселила. А тут и Аввакум явился от Черткова весьма смущенный – гулящую бабу отдали ему под начало.

## 2

Злоба – работница стоухая, стоглазая. Сна не знает, устали не ведает. Ей хоть потоп, хоть пожар – не оставит своего дела. Да не то страшно! Страшно, что ей, тихоне, ничто человеческое не чуждо. В горе – горюет, в радости – радуется, а ножик-то наготове. И ведь как памятьлива!

Иван Струна в отлучке был. Через неделю только приехал, и тотчас ему доложили: дьякон Вознесенской церкви Антон называл его, почтенного приказного дьяка, кобелем и бесчестил, говоря, что он-де, Иван Струна, ни одной сучки не пропустил и на всякую бабу облизывается, как на пряник.

– Да я бороду ему с морды на зад вихлястый перетяну! – заскрипел зубами Иван Струна.

Шептуну и то страшно стало: представил себе дьякона Антона с бородой не на своем месте.

Однако гнев этот, полыхнувший молнией по Тобольску, случился через неделю, а пока город судачил об Аввакуме, взявшемся за душеспасение красавицы блудницы.

Аввакум посадил ее в погреб, где стояли квашения. Погреб был сухой, но зело холодный.

Баба со зла матерщинничала, разговаривать по-хорошему не хотела. Протопоп велел узнать, как ее зовут, и первый же зевака из толкавшихся вокруг дома сказал: Гликерия.

Аввакум начал исправлять заблудшую рассказом жития святой Гликерии.

– Да ведомо будет тебе, дурища, – говорил протопоп, сидя возле чуть сдвинутой крышки подпола, – наречена ты, матушка моя, именем, кое носила женщина высокого рода. Отец святой

Гликерии служил градоначальником Рима, сиречь ближний боярин был. Впоследствии же он переселился во Фракию, в Троянополь, где и скончался.

– Мели, Емеля! – орала из подполья Гликерия Тобольская.

Аввакум прерывал рассказ, молился, читал Писание. Гликерии ругаться без толку надоело. И как только она умолкла, протопоп упрямо продолжил прерванную историю:

– Защитница твоя Гликерия, ставши христианкой, решила пострадать за Христа. В день сатанинского поклонения идолу Зевсу явилась она в капище, начертав на лице своем знамение креста. Подумаю про то – слезы сами собой катятся. Стоит она, милая, одна среди сонмища язычников, Бога хвалит, а о язычниках плачет. По ее молению ахнуло громом по идолищу. Зело велик был, а развалился на куски, как горшок какой! Правитель города и жрецы от ярости зафыркали по-кошачьи, за каменья схватились. Всяк небось в том городе хоть раз, да пульнул в святую. Но ни единый камень не поразил ее. Тогда уж что? У всех властей одно лекарство – выпороть да в темницу, но и тут незадача. Палачи подступили к Гликерии – и россыпью от нее, как мыши. Ужасом Господним разметаны были, явился на защиту святой девы сам Ангел... Ну да в покое, однако ж, не оставили. Правитель на ночь-то сам запер милую в темнице, своим перстнем наложил на замки печати.

– Закрой подпол! – завопила вдруг Гликерия Тобольская. – Свечами от тебя, протопоп, несет! Тьфу!

Аввакум, распалясь рассказом и думая, что блудница его заслушалась, обиделся, умолк.

– Бес с тобой! Послухаю! – смиловилась неистовая сиделица, и Аввакум, водрузив на себя, как горб, пастырское смирение, тотчас продолжил рассказ:

– Может, с месяц голодом бедную морили. Когда же правитель собственноручно отворил запоры, то увидел – Гликерия жива, здорова, весела, ибо воду и пищу ей носил Ангел. Правитель пофыркал-пофыркал, да и отправил святую деву в Ираклию. Там долго не думали – ввергли в огненную печь. Но что верующему огонь? В ножки белые поклонился деве, да и погас. Опять палачам работа – содрали с головы святой кожу и нагую бросили на острые камни. Нам, маловерам, и толики испытаний Гликерииных не пережить, а святая терпела да молилась. И снова явился к ней Ангел, исцелил и красоту не токмо вернул, но и устроил.

– Так ничего ей и не сделалось? – спросили из подпола.

– Ох, милая! Палачи, как сатана, устали не знают. Отдали святую на съедение диким зверям. Первая львица ножки ей языком вылизала, но палачи не умилились. Тогда Гликерия помолилась Богу, чтоб взял Он ее душу на небо. Тут и выпустили на нее еще одну львицу. Исполняя Промысел Божий, львица убила святую, но чтоб разорвать – ни!

– Чего же от нее хотели-то, от тетки моей? – спросила Гликерия.

– Хотели, чтоб идолам поклонилась.

– Ну и поклонилась бы!

– Ох ты Господи! – простонал Аввакум. – Будешь сидеть, пока сердцем не прозреешь, вражды твои уста, сосуд похоти, бесово утешение!

А баба хохотать – допекла протопопа!

Дури ей хватило на три дня.

Одна в дому оставаться Анастасия Марковна побаивалась, соседки к ней приходили, сиживали с рукодельем до обеда, до прихода Аввакума.

Сына Ивана, старшого, гулять выпроваживали. Агриппина с Корнилкой играла, чтоб не напугался. Прокопка сидел, прижавшись к материнским ногам, резал из деревяшек крестики.

А из подполья весь день напролет без устали неслась саженная брань, да такая, что и мужикам ругательским этакое на язык и во сне не навернется.

Марина, бедняжка, от печи не отходила, рогачами да чугунами грохала, но перегрохать подпольную грозу все же не умела и потому повязалась двумя платками, чтоб хоть не всякое поганое слово слышать.

Ночью тоже покоя не было. Протопоп по привычке встанет на молитву, а Гликерия услышит его, да и опять за матюги. Только на одной воде, без хлеба, долго не покричишь. Бочки с грибами, капустой, огурцами – рядом, да цепь не пускает.

### 3

Примолкла Гликерия.

На четвертый день в ужин зарыдала, взмолилась прежалобно:

– Виновата, Петрович! Согрешила перед Богом и перед тобою! Прости меня, грешную! Наука твоя мне надолго.

Аввакум возрадовался, слыша раскаянье, и тотчас велел пономарю вынуть блудницу из погреба.

Вышла бледна, тиха – человек человеком.

– Хочешь ли вина и пива? – спросил ее протопоп, переиначив слова наставительной «Повести о целомудренной вдове».

– Нет, государь! – прошептала Гликерия. – Дай, пожалуйста, кусочек хлеба.

Аввакум еще пуще возрадовался:

– Разумей, чадо! Похотение блудное, пища богатая, питье хмельное рождают в человеке и ума недостаток, и к Богу преозорство да бесстрашие. Наедшись и напився пьяна – скачешь, яко юница, быков желаешь и, яко кошка, котов ищешь, смерть забывше.

Дал ей свои четки, велел поклоны перед Богом класть. Сам рядом на правиле. За нее же, бедную, и молится.

Гликерия стучит лбом об пол, а глаза-то у нее, как у птицы пойманной, закатываются. Кланялась, кланялась, да и – хоп!

– Силенок нет?! – взъярился Аввакум. – На блуд и мятеж – здорова, а как на молитву – так разлеглась коровой! Пономарь! Шлепов ей!

Пономарь протопопа как огня боялся. Шлепов так шлепов! Не так что сделаешь – отдубасит! На руку протопоп скор, хоть и отходчив.

Колошматил бабу с пристрастием. Да при детях. Не вынес Прокопка чужой боли, заплакал. Тоненько, как сверчок. А у батки Аввакума у самого слезы на глазах: жалко ему глупую бабу, но ведь не поучи ее – назавтра все забудет.

Поучил, маслом помазал, да и за стол вместе с собой усадил. Ради нее второй раз ужинал. И снова в подполье.

Наутро, однако, отпустил с миром.

Ушла, лицом посветлев и душою.

Протопоп сильно был доволен.

### 4

Тут как раз еще один учитель сыскался.

По простоте сибирской поучить дьякона Антона обиженный им Иван Струна явился, много не думая, в церковь, во время службы.

Шла вечерня. Народу было не много, день постный, особыми подвигами в святцах не отмеченный.

Вдруг входные двери бухнули, и в клубах белого, особо строгого в тот вечер мороза явилась ватага.

Аввакум как раз из Царских врат выходил. Но и до Царских врат, побивая ладан, докаатило перегаром.

Иван Струна скакнул на клирос, дьякона Антона за бороду – и на кулак мотать.

Протопоп как глянул на бесчестье, творящееся в доме Господнем, так и возревновал душою. Словно облак встал дыбом на святотатство.

Поднял Евангелие над головой, да и пошел на нечестивцев:

– Отлучу!

Прочь побежали, по-бараньи, дурным скопом. Затворил Аввакум дверь на засов да на замок – и ключ за пазуху. С Ивана Струны вся смелость и сошла вдруг. Бросил Антона и туда-сюда по церкви бегают, а в церкви ни своих, ни чужих.

Схватил Аввакум нечестивца и чуёт – силенка-то в Иване жиденькая. Взяли они с Антоном церковного мятежника под руки, усадили посреди храма, и ремнем, снятым с Ивановых же порток, учил Аввакум Струну собственноручно.

Постегал, а потом и обнял. К покаянию привел.

Дрожал Струна как осиновый лист, всплакнул, запальчивость свою кляня.

С тем и отпустил его Аввакум из церкви.

Отслужи вечерню, домой шел, опираясь на архиерейский богатый посох, даренный княгиней. Ночь была и темна и морозна, а на душе протопопа и свет и тепло. Экий ведь лютый зверь Иван Струна, у него и душа-то чудится лохматой, а поди ж ты, словом Божиим – повержен и укрощен.

Домой пришел Аввакум довольный.

Анастасию Марковну в ушко поцеловал.

Прокопку на колени посадил. Весело поглядывая на домочадцев, сказал о Марине, хлопотавшей у печи:

– Ишь, какая справная работница у нас выросла. Замуж пора!

– Ой! – вспыхнула Марина. – Чуть, дядюшка, из-за тебя чугун не уронила.

– Так ведь не уронила же! – засмеялся Аввакум. – Значит, и впрямь пора!.. Не тороплю и никого тебе не навязываю. Однако ж приданое помаленьку готовьте и о женихе думайте... Нынче я в Тобольске человек сильный. Протопоп! А завтра как Бог пошлет.

– Ох, Петрович! – призадумалась Анастасия Марковна. – За сибиряка выдашь, так уж не бывать девушке на родимой стороне.

– А чем же сибиряки не хороши? – удивился Аввакум. – Поглядите, какие дома ставят. В России не у каждого дворянина такие хоромы. Надежный дом – надежная жизнь. В Россию же путь никому не заказан.

Марина поставила на стол горшок со щами и горшок с кашей, чтоб остыла, пока хлебают.

– Грибков достань, – попросил Аввакум, – пристрастился я что-то к грибкам здешним. На наши, волжские, похожи.

Встали на молитву.

И тут на улице под самым окном зафыркали лошади, заскрипел снег. Дверь грохнула под ударами.

– Отворяй, протопопишка! Смерть твоя пришла!

Аввакум кинулся к печи, схватил топор:

– Кто?!

– Не узнал?! Сейчас узнаешь!

Это был мохнатенький голос Ивана Струны.

– Отворяй! Хуже будет! – орали с улицы. – Одного тебя утопим в проруби! Не отворишь добром – и кутят твоих туда же!

Домочадцы, отгеснив Аввакума, кинулись загораживать дверь в сенях, потом, навязав полотенца на рогаши, прикрутили дверь в горницу.

Детей одели, отправили в подпол.

Аввакум зажег лампаду, стал под иконы. Молился, кланялся, Анастасия Марковна молилась рядом.

Вдруг зазвонили в колокол.

Бом-бом-бом!

На улице заматюгались, забегали, зафыркали лошади – и все затихло.

– Убались, – сказала Анастасия Марковна, – не оставил нас Господь!

Аввакум сел на лавку, согнулся.

– Как овца был Иван, когда давеча каялся. А под шкурою овечьей – волк сидел. А может, зря грешу на Ивана. Сродники на мятеж подбили.

– Господи, опять нажили болезнь! – Слезы стояли в глазах Анастасии Марковны.

– Нажили, Марковна. Скорей бы уж архиепископ приезжал. Воевода Хилков здешних людей как огня боится. При нем режь человека – зажмурится и мимо пройдет.

## 5

Ох, Сибирь, Сибирь!

Не в лесу дремучем, не в поле – в большом городе, не зайца – человека денно и ночью травили на виду всего благополучного христианского люда. Ну, был бы мятежник, неслух, тать или сволочь какая пропойная – а тут пастырь, протопоп!

И смех и грех! Служить Аввакуму приходилось с запертыми дверьми. Прихожан впустит – и дверь на замок. А на паперти – гончая свора с дубьем.

Служба кончится – прихожане выкатят из церкви толпой, озорников по сторонам, и тогда уж Аввакум с причтом<sup>5</sup> из храма выметываются. Когда бочком, когда трусцой, а то и рысью.

Спасибо, Матвей Ломков за него стоял. Человек силы грозной, немереной. При Матвее дружина Ивана Струны если и наскакивала на Аввакума, так только для виду. Поскачут, полают, как псы, и отстанут.

Каждую ночь – война. Приступом идут.

Анастасия Марковна с детьми в монастыре укрылась, а бедному протопопу, чтоб беду от гнезда отвести, по всему Тобольску пришлось бегать.

На вторую неделю гоньбы к воеводе Хилкову залетел в дом. Как воробей от коршуна.

Князь Василий Иванович при виде Аввакума от страха затрясся:

– Батяка Петрович! Ей-богу, не спасу тебя, коли придут! Иван Струна с Бекетовым в дружбе. Они ж, как из похода вернутся, хуже цепных кобелей. Скажи слово им поперек – разорвут.

– Делать-то мне что?! – зашумел на Хилкова Аввакум. – Моя жизнь, чай, тоже жизнь! На то ты и воевода, чтоб мятежи укрощать, стоять силой за людей добрых.

– Где она, моя сила? Куда я тебя спрячу?

– Да хоть в тюрьму запри!

– А надежна ли тюрьма перед Струной?

И заплакал:

– Господи, когда ж ты меня из Сибири вызволишь?

Слезам залился коровыми. А тут наподначку стрелец прибежал и в штанах принес:

– Толпой ходят! Ищут батяку!

– Ах ты, Господи! – закричал князь по-заячьи. – Навел ты на мой дом, Петрович, беду!.. Неужто иного места для спасения нет в Тобольске? Все ко мне бегут!

С перепугу, может, и выставил бы протопопа Ивану Струне на растерзание. Княгине спасибо. Взяла Аввакума на свою половину, да еще и посмеивается:

– У меня не найдут – не кручинься. Коли нагрянут, полезай в сундук, а я, батюшка, над тобой сяду. Меня-то за боки взять, чай, духу у них не хватит.

---

<sup>5</sup> Причт – состав лиц, служащих при какой-либо одной церкви, как священнослужителей, так и церковнослужителей.

Вовремя княгиня беглеца к себе взяла. Зашумели на крыльце, сильно зашумели. Пришлось протопопу отправиться в сундук с поспешанием.

## 6

Всласть покуражился Иван Струна и над протопопом, и над всем Тобольском. Словно в темный пузырь поместили город, и пузырь этот день ото дня раздувался, перемарывая в своем мерзком нутре всякое белое на черное. Казалось, продыху никому и никогда уже не будет.

Но вот 14 декабря 1655 года вернулся из Москвы архиепископ Симеон. Вся тьма тотчас улетучилась, и могущественный, всевластный Иван Струна, преобразясь в бедную овечку, держал перед архиепископом ответ, отнекиваясь, божась и скорбя о напраслине, какую возводили на него, агнца, недобрые люди-волки.

Мудрый Симеон взялся судить Струну не за Аввакума – ссыльного протопопа, а за беззаконие и произвол по делу одного богатого мужика. Мужик этот насиловал дочь, о чем жена его подала челобитную в съезжую избу. Челобитную-то подала, да без приправы, а мужик, не будь дураком, одною приправой обошелся. Видно, кус был весьма жирный. Иван Струна насильника оправдал, а жену его и дочь подверг битью без пощады и выдал мужику с головою. Дочь в первый же день по приезде архиепископа ударила челом на отца. Мужика взяли под белы руки, привели на очную ставку с дочерью, и тот повинился перед нею и перед Богом.

Еще солнышко за лес не опустилось, а Иван Струна уже сидел в хлебне на железной цепи, аки пес.

В ту ночь впервые за месяц ночевал Аввакум под одной крышей со своими домочадцами.

– Чего только не возжелаешь по дури, бесом разжигаемый, – сказал Аввакум любезной своей Анастасии Марковне. – Нет большей радости, чем быть здоровым и вместе с родными людьми... Бедные те, кто не уразумел этой всевышней благодати. Ей-богу, бедные!

Анастасия Марковна тихонько вздохнула и прижукнулась к мужнему плечу:

– Воистину так, Аввакумушка.

Тут и Аввакум вздохнул, но иной это был вздох – заклокотали в груди протопопа старые его обиды.

– Нас, меньших людишек, Бог быстро на ум наводит. А вот жеребцу Никону все нипочем<sup>6</sup>, наука Божия мимо ушей его пролетает, словно ухи-то у него шерстью заросли. Владыко Симеон сказывал: половина Москвы будто косою выкошена...

– А братья-то твои, братья! – вскрикнула Анастасия Марковна, берясь за сердце.

– О братьях вестей нет. Владыко раньше мора из Москвы выехал...

Анастасия Марковна напуганно молчала.

– Сбылось пророчество батьки Неронова!<sup>7</sup> – сказал Аввакум в сердцах. – Царьку нашему тот мор как фига под нос. Чтоб прочихался да опамятовался. Вон она – дружба с Никоном. Сами окаянные и всех россиян окаянностью своей заразили.

---

<sup>6</sup> ...А вот жеребцу Никону все нипочем... – Никон (в миру Никита Минин; 1605–1681) – шестой патриарх Московский с 1652 г. С 1653 г. начал проводить церковные реформы, вызвавшие раскол. Вмешательство Никона во внутреннюю и внешнюю политику государства под тезисом «священство выше царства» вызвало его разрыв с царем. В 1658 г. Никон оставил патриаршество. Созванный для решения этого вопроса собор 1660 г. постановил избрать нового патриарха, а Никона приговорить к лишению архиерейства и священства. Однако дело осталось в неопределенном положении. В 1666 г. собор, на который съехались восточные патриархи, признал Никона виновным в произнесении хулы на царя и на всю русскую церковь, приговорил к лишению святительского сана и к ссылке в Белозерский Ферапонтов монастырь. После смерти царя Алексея Михайловича наследовавший престол Федор Алексеевич, несмотря на сопротивление патриарха Иоакима, решился перевести Никона в Новоиерусалимский Воскресенский монастырь и ходатайствовал перед восточными патриархами о восстановлении его в патриаршем достоинстве. Однако разрешительная грамота уже не застала Никона в живых. Он скончался в пути, в Ярославле, 17 августа 1681 г. и был погребен в Воскресенском монастыре как патриарх.

<sup>7</sup> Неронов Иоанн (Иван, в монашестве Григорий; 1591–1670) – один из вождей раскола, учитель и друг Аввакума. Член «кружка ревнителей благочестия», который при патриархе Иосифе держал в своих руках все церковное управление. Был клю-

– Опомнись! Братья ведь у тебя в Москве.  
– В Москве! – Горечь обожгла горло. – Не знаешь теперь, за здравие их поминать или за упокой.

Да так и сел в постели.

– Марковна!

– Ты что?

– А ведь Бог гонимым – и нам с тобой, и Неронову, и Павлу Коломенскому...<sup>8</sup> всем, всем отлученным от Москвы – жизнь даровал! Вот он – Промысел Божий! Гонение обернулось жизнью и славой, а слава – смертью и забвением.

Как был, в исподнем, пошел под иконы, и Анастасия Марковна за ним.

## 7

В тот поздний час Иван Струна, простоволосый, в одной рубаше, колотил окостенелыми на морозе кулаками в ворота дома Петра Бекетова. Монах, купленный за ефимок, снял со Струны цепь и вывел из хлебни. Вот только одежды никакой добыть не смог.

– Околею! Околею! – орал Иван, уже горько сожалея о побеге: мороз был лют, да с ветром. – Слово и дело! Слово и дело!

Губы от холода трескались, кровоточили. Иван проклял себя, что не кинулся сразу домой: побоялся, далеко. Потому и ломился к Бекетову – человеку служилому, боярскому сыну<sup>9</sup> – надеялся на могущество заволаживающей Россию фразы: «Слово и дело!»<sup>10</sup>

– Ги-и-и! Ги-и-и! – в страшной смертной тоске завывал Струна.

Наконец проснулись.

Засопели тяжелые запоры, отворились двери.

– Кто?!

– Слово и дело! – давясь морозным кляпом, прокаркал Иван, уже не чуя ни ног, ни рук, ни самого себя.

Его втащили в дом, оттерли снегом. Напоили водкой, дали меду.

Петр Бекетов, быстрый, злой, прибежал в переднюю, где хлопотали над доносчиком, в исподниках, в ночной рубаше до пят.

– Кто?! С чем?! Противу кого?!

---

чаем в Успенском соборе, а с 1649 г. – протопопом в Казанском соборе. Влияние патриарха Филарета, Стефана Вонифатьева и других убежденных грекофилов создало у Неронова уважение к Восточной церкви и удержало его от пути, по которому пошли Аввакум и др. Тем не менее он был противником Никоновых реформ, и в 1653 г. его отправили в ссылку. В 1656 г. он принял монашество под именем Григорий. В том же году на соборе был подвергнут отлучению и лишению сана, однако отлучение удалось отменить. Позже, услышав, что восточные патриархи одобряют исправления богослужебных книг (что порицал Неронов), он принял все реформы и покался. В 1657 г. помирился с Никоном, но остался прежним. В 1664 г. снова был судим на соборе за пропаганду раскола и сослан в Волоколамский монастырь. В 1667 г. вторично отрекся и в 1669 г. был назначен архимандритом Переяславль-Залесского Даниловского монастыря.

<sup>8</sup> Павел Коломенский – епископ Коломенский, единственный из иерархов русской церкви, принявший во время раскола сторону старообрядцев. С самого начала реформ Никона относился к ним враждебно. Был близок к Неронову. Свою приверженность к старине открыто выразил на соборе 1654 г., настаивая, чтобы церковные книги были оставлены в прежнем виде. Хотя и подписался под постановлением собора относительно исправления книг, но сделал оговорку, в которой отрицал возможность и надобность изменения правил о поклонах. Патриарх лишил его епископской кафедры и сослал в заключение. Последние обстоятельства его жизни неизвестны. По словам Лазаря Баранова, Павел сошел с ума. По рассказам старообрядцев, Никон сослал его в Новгородский Хутынский монастырь, где игумен его мучил, а затем он был убит подосланными Никоном людьми. По словам протопопа Аввакума, Павел был сожжен.

<sup>9</sup> Боярский сын – одно из дворянских сословий служилых людей.

<sup>10</sup> ...надеялся на могущество заволаживающей Россию фразы: «Слово и дело!» – Сказать «Слово и дело!» или «Слово и дело государево!» означало в России конца XVI – начала XVIII в. изъяснить готовность донести о преступлениях или делах государственной важности.

– Протопоп Аввакум святейшего патриарха Никона называл антихристом, а великого государя – пособником антихриста! – закричал Струна, падая перед Бекетовым на колени.

– Дайте ему... тулуп! Пусть ночует! – распорядился Бекетов. – А теперь спать! Всем спать! На то она и ночь, чтобы спать!

И убежал, страшно сердитый, позевывая, поддергивая спадающие исподники.

Допрос Ивану был, однако, учинен до зари. Петр Бекетов, измеривший сибирскую землю своими ногами, основавший дюжину острожков, приведший под царскую руку множество ино-родцев, дела решал скоро, без оглядки на чины и титулы.

– За что Аввакума из Москвы выставили? – спросил Струну.

– Против воли царевой да патриаршей сам стоял и людей подбивал.

Бекетов сложил пальцы щепотью, потом выставил два пальца, покачал головой.

– Щепотью вроде удобнее... Но то не нашего ума дело! Как царь велит, то и есть истина.

– Вот и я говорю.

– Тебя не спрашивают. За что на цепь посадили?

– По наговору.

– Не пустобрешествуй! – прикрикнул Бекетов.

– Мужик девку, дочь, насильничал, а я, дескать, взял с него мзду и судил неправо.

– Чист и свят?

– Вот те истинный крест!

– На дыбу! – приказал Бекетов.

Струна завопил, замахал руками:

– Грешен! Грешен! Брал! Всего-то полтину!

– Ну, брал так и брал! А на протопопа не клеветешь?

– Истинный крест! Дня не бывает, чтоб Аввакум патриарха в церкви не срамил. Про то всякий человек в Тобольске знает.

– А я тебе не человек? На дыбу! – приказал Бекетов.

Похрустели косточки Ивановы на «колесе правды».

Однако ж не переменял извета. А коли не переменял, выдюжил пытку, то отныне от царских слуг ему защита и крепость.

В тот же день донос на протопопа Аввакума отправился в дальний путь, через леса и доли, через горы и реки в белокаменную Москву.

## 8

Еще головешки дымились на сожженных чумных пепелищах, а Москва уже позабыла день вчерашний и праздновала! Столице праздник к лицу.

Принимала Москва гостя желанного и высокого – патриарха великого древнего града Антиохии и стран Киликии, Иверии, Сирии, Аравии и всего Востока кир Макария.

Первое торжество совершалось 12 февраля 1655 года.

День этот для великой радости был весьма пригож. На святом Афоне 12 февраля праздник Иверской иконы Божией Матери, называемой «Вратарницею», ибо икона эта своей святой волей обрела место над воротами монастыря, возвестив через инока Гавриила, что не хранимой желает быть, но Хранительницей.

Иверская икона в Москве почитаема, а у патриарха Никона к ней великая любовь и раде-ние.

В этот же день очень кстати святцы поминают архиепископа Антиохийского Мелетия. Антиохийский святитель крестил и растил Иоанна Златоуста, рукополагал во диаконы свя-тителя Василия Великого, удостоился благодати быть председателем Второго Вселенского собора.

У царя Алексея Михайловича<sup>11</sup> тоже своя причина для торжества: 12 февраля надежда и радость, царевич Алексей, – именинник.

На приеме государь оказал антиохийскому патриарху чрезвычайный почет и милость, каких прежде не удостаивался от московского царя ни светский человек, ни духовный. Царь, сойдя с трона, поклонился Макарию до земли. Поклон этот Москва отдавала не только восточному патриарху, но всей древней чтимой земле Востока: куда ни ступи, куда ни поворотись – предание и святое место.

К патриаршим подаркам Алексей Михайлович проявил радостный интерес и трепетную почтительность. Сначала принесли иконы. Очень и очень старого письма, а потому и бесценные. Икон было две: Христос с двенадцатью учениками и образ апостола Петра.

Остальные подарки приносили на серебряных блюдах. Алексей Михайлович каждое блюдо целовал, рассматривал подарок и называл для писцов, которые тотчас записывали его в особую книгу. Подарено было: ларец слоновой кости с частицей Крестного Древа, того самого Древа, на котором был распят Иисус Христос. Оно тонуло в воде, на огне раскалялось, а потом приобретало прежний вид. Купил эту реликвию антиохийский патриарх на константинопольском базаре, там же был приобретен, а теперь подарен государю камень с Голгофы, на котором сохранились капли крови Иисуса. От времени и по великой святости камень стал серебряным, а капли крови на нем – золотыми.

Царице Макарий поднес часть покрывала с головы Анастасии-мученицы, царевичу Алексею – перст Алексея, человека Божия, и его волосы в серебряном сосуде.

Одно блюдо следовало за другим: иерусалимские свечи, миро, ладан, благовонное иерусалимское мыло, пальмовая ветвь, ангорские шерстяные материи, дорогие платки, шитые золотом...

О ладане, манне и фисташках Алексей Михайлович спросил Макария. Фисташки понюхал.

– Какая это благословенная страна Антиохия, что растут в ней подобные плоды!

А Макарию было стыдно за бедность своих подарков, и он сказал царю:

– Не взыщи с нас, государь! Страна наша очень далека, и уже три года, как мы выехали из нашего престола. Твое царство велико: прими это малое за большое.

Алексей Михайлович растрогался и сердечно расхваливал подарки, которые ему очень нравились, и продолжил свои расспросы о самовозгорающихся иерусалимских свечах, о миро, из каких составов его варят на святом Востоке, о том, как выглядит Голгофа.

Макарий, отвечая на вопросы, говорил очень медленно, с трудом находя греческие слова.

– Почему патриарх не говорит быстро? – спросил царь толмача с тревогой.

– Патриарх недавно стал обучаться греческому языку, арабского же никто из твоих государевых драгоманов<sup>12</sup> не знает.

Алексей Михайлович слегка нахмурился, и Макарий, уловив это, что-то торопливо сказал толмачу на ином языке.

– Патриарх знает по-турецки, – перевел толмач. – Если тебе угодно, государь, его блаженство будет говорить быстро на турецком языке.

– Нет! – воскликнул Алексей Михайлович. – Боже сохрани, чтоб такой святой муж осквернил уста и язык этой нечистой речью.

<sup>11</sup> У царя Алексея Михайловича... – Алексей Михайлович Романов (1629–1676), русский царь с 1645 г. При нем началось превращение сословно-представительной монархии в абсолютную: уменьшение роли Боярской думы, постепенное отмирание Земских соборов и т. д. В отличие от своего отца – Михаила Федоровича Романова – принимал большое участие в управлении государством. Был образованным для своего времени человеком. Вел активную внешнюю политику, в результате которой значение Русского государства сильно возросло. Был дважды женат: на Марии Ильиничне Милославской (1648) и на Наталье Кирилловне Нарышкиной (1671). От первого брака родились будущие цари Федор и Иван и царевна Софья. От второго – Петр I.

<sup>12</sup> Драгоман – переводчик восточных языков при послах, консулах и проч.

По окончании приема царь подарил Макарию саккос<sup>13</sup> и, в знак особого расположения, разрешил тотчас, а не через три дня, как заведено, посетить патриарха Никона.

## 9

Восточному ли человеку удивляться пышности владык? Но удивлялись!

Патриаршее место богатством, величием и благородством не только не уступало, но, пожалуй, и превосходило царское. Да и сами ризы московского патриарха великолепием затмевали ризы владык, коих Макарий повидал на своем веку.

На красных бархатных скрижалях херувимы были шиты золотом и жемчугом. Но каков это был жемчуг! Всякая жемчужина – десять лет безбедной жизни простому человеку. Белый клобук<sup>14</sup> с куполом из чистого золота, крестом из жемчуга и прекрасных драгоценных камней. Херувим над глазами опять же из жемчуга, на воскрылиях клобука золото и драгоценные камни. На такую шапку город можно купить, а то и города...

Встреча продлилась за полдень, и тут государь прислал за патриархами ближних своих бояр – звать в Столовую палату на обед.

Шла неделя перед мясопустом, но кушанья ради патриархов подавали рыбные. На первое – хлеб с икрой.

Сидели патриархи по левую руку царя за отдельным столом. Ни труб, ни флейт, ни бубнов с барабанами, но светлый, радостный, словно перевитый солнечными лучами голос юного псаломщика. Он стоял перед аналоем и по монастырскому уставу читал житие Алексея, человека Божия.

Смирение царского пира удивило антиохийцев куда более, нежели жемчуг и драгоценности святейшего Никона. Они еще не знали, что их ждет впереди.

Государь, отведав хлеба с икрой, к другим блюдам только притрагивался. Он потчевал Макария, всякий раз чуть склоняя перед ним голову. Глаза у него были добрые и усталые, а улыбка – светлая, легкая.

«Какой милый человек! – думал о царе Макарий. – Как же это он на троне с такою доброй душой? Вон как в глаза заглядывает, словно самого себя дарит».

Когда бесчисленным блюдам пришел конец, Алексей Михайлович встал и поднес из своих государевых рук серебряную чашу с вином гостю, потом Никону, потом боярам и всем присутствующим. До полуночи продолжалось питье четырех круговых чаш за здоровье государя, государыни, именинника – царевича Алексея – и патриархов. Четыре часа, а то и более того стоял, трудился Алексей Михайлович, и каждому от него было доброе слово и приветливая улыбка.

На улице антиохийцев ждало еще одно московское диво. Оказывается, пока шел пир, стрельцы, сквозь строй которых поутру еще прошло их патриаршее шествие, – стояли! На московском-то морозе!

– Если бы мы не покинули пределы нашей страны, – сказал Макарий своему архидакону Алеппскому Павлу, – то и представить себе не умели бы, что есть истинное терпение. Такого терпеливого народа, как русские, наверное, на всей земле нет. У них ведь и царь терпеливее наших аскетов.

Не чуя ног под собою от усталости, Антиохийский патриарх приготовился отойти ко сну, как вдруг ударили колокола и за гостями пришли.

---

<sup>13</sup> ...царь подарил Макарию саккос... – Саккос – верхняя архиерейская одежда, заменяющая собою фелонь и имеющая с нею одинаковое духовное значение, а именно: означает вретиче и напоминает о той червленой ризе или хламиде, в которую облечен был Спаситель. Архиерей, облачаясь в саккос, обязан припоминать унижение и смирение Спасителя и не возноситься высотой своего служения.

<sup>14</sup> Клобук – головной убор монашествующих. Белый клобук – головной убор митрополита или патриарха.

– Что случилось? – спросил патриаршего посланца, князя Мещерского, архидиакон Павел.

– Ничего не случилось, – ответил князь, в свою очередь удивившись вопросу. – Царь и патриарх со всем синклитом отправились на всенощную в Успенский собор. Поспешайте.

Пришлось гостям поспешать. И снова удивлению их не было меры: царь со всеми боярами отстоял всенощную, потом утреню и покинул храм только на заре. Позже в своей книге Павел Алеппский, испытав на себе тяготы московского благочестия, написал, содрогаюсь от воспоминаний: «Наши умы были поражены изумлением при виде таких порядков, от которых поседели бы и младенцы».

Государь после долгих служб не кинулся без ног в постель, но, задержав у себя Никона, советовался с ним о делах государственных.

Вести с войны приходили все недобрые, и Алексей Михайлович ждал от собинного друга утешения.

Из Смоленска бежал изменник Соколинский, а с ним братья Ляпуновы. Мещане города Озерищи вырезали тридцать шесть стрельцов, воеводу же связали и выдали Радзивиллу. Предались полякам любвицкие мещане. Изменила Орша. Наказной гетман Золотаренко снял осаду Старого Быхова и сам теперь осажден в Новом Быхове.

Чудом вырвались из плена гетман Хмельницкий и воевода Василий Борисович Шереметев. В Умани поляки и татары осадили полковника Богуна. Хмельницкий с Шереметевым пошли на выручку, но под Ахматовом были окружены вчетверо превосходящими силами. Не сробели, построили табор, пробились к Белой Церкви, и конечно, не без потерь.

– Я вчера еще отписал в Белую Церковь! Пусть Шереметев возвращается в Москву, коль только и знает, что пушками да знаменами в степи сорить!

Никон насупил брови.

– Не поторопился ли ты, великий государь, с указом? По моим вестям, Шереметев ладит с Хмельницким. А после такого сражения он и подавно станет гетману как близкий товарищ.

– В товарищи гетману у меня есть человек не чета Ваське! – вспыхнул царь.

– Уж не Бутурлин ли?

– А вот и Бутурлин! Ты против, что ли?

– Помилуй, великий государь! Боярин Василий Васильевич отмечен от Бога многими достоинствами. Одного лишь у него теперь нет.

– Чего?

– Молодости.

– Хмельницкий сам старик, ему со старым человеком говорить о государственных делах не обидно, а с молодым – обидно... Да ты не думай, что царь у вас прост, как... – Государь не нашелся, с чем сравнить себя, чтоб и похоже было и чтоб достоинства своего не уронить. Махнул рукой. – Вторым воеводой у Бутурлина будет Григорий Григорьевич Ромодановский. Бутурлин говорить горазд, а Ромодановский горазд саблей махать. Вот и сладится у них дело.

– Воистину мудрое решение! – притворно просиял Никон, не особенно скрывая притворства. – Как не порадоваться на твою государеву прозорливость!

Алексей Михайлович опустил глаза и вздохнул.

– Тебя еще что-то гнетет? – по-отечески участливо спросил Никон.

– Измена на измене. Полковник Поклонский вышел на вылазку из Могилева да и перебежал к Радзивиллу. Большой острог сдали. Воевода Воейков в замке укрылся, слава Богу, хоть могилевские горожане с ним, против Литвы. – Дотронулся до руки Никона. – Переслали изменническое письмо Поклонского к могилевским мещанам. Пишет: с Москвой нам навеки жить. Москва едва годится на то, чтоб нам служить, а не то чтоб мы ей служили... Помощи-де ждать вам неоткуда. Царь в Москве заперся, патриарх народом убит, моровое поветрие людей повыкосило.

– Ну что – Поклонский?! – Никон только рукой махнул. – Я его и проклинать не стану. Поляк и латинянин. Речи его глупы, и глупость их тебе же, государь, на пользу. Чем больше литвы поверит, что у Москвы народа нет, тем страшнее им будет, когда ты явишься на них грозой.

– А ведь правда! – обрадовался Алексей Михайлович. – Ох, люблю тебя. Я уж света было невзвидел, а ты вот сказал словцо – и полегчало.

И вправду успокоился: изменник страшен, когда за спиной стоит, в стане врага от него вреда меньше.

## 10

Полковник Лазорев стоял на пороге, тиская в руках шапку. Показалось, что Борис Иванович Морозов<sup>15</sup> не узнал его. Боярина словно инеем ударило. Борода бела, брови белы, и лицо словно бы припорошило.

Боярин допустил до себя просителя, на поклон сказал: «Здравствуй!» – да и позабыл вдруг о пришедшем. Прикрыл ладонью глаза, затих.

Андрей Лазорев не знал, как и быть ему. Окликнуть – смелости не хватало, а чтобы повернуться и уйти – смелость нужна еще большая.

Решился вздохнуть:

– Ох!

Боярин не шелохнулся.

– О-ох! – снова вздохнул полковник.

Ни звука, ни движения в ответ.

«Может, спит?»

Охнул во всю грудную клетку:

– У-у-о-ох!

– Телишься ты, что ли?

Морозов отвел от глаз руку и посмотрел на полковника до того серьезно и печально, что хоть сквозь землю провались, а все равно – стыдоба!

– Ты в чуму в Москве был?<sup>16</sup>

– В Москве, Борис Иванович.

– Дом уцелел?

– Дом уцелел, а домашние все померли.

– Дворни много осталось?

– Никого.

– Если пришел людей просить, так у меня из трех с половиной сотен в живых Бог оставил полторы дюжины.

Лазорев встал на колени:

– О боярин пресветлый! Не казна мне надобна, не палаты со слугами. Скажи обо мне государю, отпустил бы он меня на войну с ляхами. Не могу в Москве жить. Хари чумные за каждым углом мерещатся. Я Москву-то от чумы спасал, да к себе ее и приволок во двор. Ради мести и злобы прыгнул ко мне через забор чумной мужик.

Морозов встал, подошел к Лазореву, поднял с пола:

---

<sup>15</sup> Борис Иванович Морозов (1590–1661) – государственный деятель, руководитель русского правительства в середине XVII в., боярин. Был «дядькой» (воспитателем) царя Алексея Михайловича. С 1645 г. фактически возглавлял московскую администрацию. После Соляного бунта по требованию восставших был сослан в монастырь, но скоро возвращен и до конца 1650-х гг. продолжал негласно руководить правительством.

<sup>16</sup> Ты в чуму в Москве был? – Эпидемия чумы в Москве свирепствовала в июле – октябре 1654 г. и унесла огромное число человеческих жизней.

– Я давеча молодым тебя вспомнил. Такой ты удалец был... Да и я уж не тот. В те-то поры кровь по жилам аж кипела! И того желалось, и этого. Все было надо. Все хотелось сделать по-своему, ибо одни мы умны... А поживешь... – Он махнул рукой. – Теперь вот и глаза видят окрест, и уши наконец очистились, чтобы слышать. Истина в мире немудреная: кукарекают все, но всяк на свой лад. И никого ты не переучишь, разве что перекричишь! – Морозов засмеялся, и очень даже весело. – Все ж, будь нам удача, многих нынешних бед Россия и не знала бы! Не дал Бог удачи, а жизнь взяла да и прошла.

– Мудрость, Борис Иванович, с годами только прибывает.

– Не болтай! Не болтай! – прикрикнул Морозов в сердцах. – Всего ума в старости себя-дурство выказывать. Не самодурство! Самодурство – это когда над другими дуришь, а себя-дурство – себя дурнем выставляешь и дурью этой изгаляешься. Ну да ладно!

Борис Иванович, шаркая ногами, пошел к заморскому креслицу. Его сильно шатнуло. Лазорев успел взять старца за локоть, но тот отдернул руку:

– Сам! Сам!.. – Сел, поглядел на Лазорева из-под бровей. – В дом бы к себе взял. Вместе бы коротали... Да незачем тебе раньше срока в старики. Жизнь сегодня прибила, а завтра поднимет и цветами еще украсит. Поехали со мной нынче в Успенский, там я и укажу государю на тебя. На войну отпустит. У войны глотка широкая. А теперь ступай, отдохну.

Лазорев, кланяясь, пятился к дверям, а старец, закрыв глаза, то ли дремал, то ли грезил. И было скорбно Лазореву видеть это.

Что же ты, старость, над людьми потешаешься без всякого удержу, управы ниоткуда не ведая, стыда не зная?!

И подумалось вдруг: «А ведь все у Бога – истина и разум. Старость – тихая ступенька от жизни, где человек был всем, к безымянной тишине вечности, к вечному покою».

## 11

В честь Соборного Воскресения, венчавшего Неделю Православия, служба в Успенском соборе торжественностью и величием, по мысли ее устроителя Никона, должна была потрясти разум и сердце всякого сущего во храме, но прежде всего Антиохийского патриарха. Патриархам сослужили шесть архиереев. По правую руку Макария становились митрополит Новгородский, архиепископы Рязанский и Вологодский, по левую руку Никона – митрополиты Сербский, Ростовский, архиепископ Тверской. За архиепископами стояли архимандриты по двое на каждую сторону – чудовский, Новоспасский, симоновский и андроньевский, а также протоиереи Успенского и Архангельского кремлевских соборов и многие, многие протопопы, попы, дьяконы.

Дело шло к весне, было уже четвертое марта, но мороз до того разлютовался, что даже внутри храма стены обрастали белой шерсткой инея.

Царь, озябнув, сошел со своего места, встал рядом с Борисом Ивановичем Морозовым и все грел руки за пазухой, то правую, то левую.

Несмотря на холод, служба не поспешала. За обедней протодьякон бесконечно долго читал синодик, поминая святых греческой церкви, потом русских святых. При каждом имени сослужащие патриархам архиереи и попы возглашали троекратную вечную память. Затем поминали русских великих князей и царей, князей, воевод и ратников, павших на нынешней войне, а потом без перехода пошла троекратная анафема еретикам и знаменитым иконоборцам. За анафемой последовало пение многолетия: царю, царице, царевичу, сестрам царя, его дочерям, патриархам Никону и Макарию, архиереям, священству, боярам, воинству и всему православному люду.

У Макария затеплилась было надежда, что длинной и ледовитой службе пришел конец, но Никон, помолясь перед алтарем, направился к амвону, где служки открыли ему на нужной

странице Сборник отеческих бесед, и Никон принялся читать слово об иконах, то и дело прерывая чтение для собственного толкования и вразумления пасомого стада.

Улучив минуту, Борис Иванович отыскал глазами Лазорева и сделал знак приблизиться.

– Великий государь, – шепнул боярин царю, указывая глазами на полковника. – Этот дворянин всю чуму оберегал Москву от грабежей и насилия, потерял семью и дворню. На войну хочет, подальше от опустевшего дома своего.

– Завтра в Думе скажи о нем, – ответил государь, взглядывая в лицо полковнику. – Пошлю с обозом и пушками к Якову Куденетовичу Черкасскому.

Лазорев не расслышал тихую речь государя, но понял, что сказано одобрительно.

А Никон между тем закончил поучение и приказал принести иконы латинского письма. Сначала сам он по-русски, потом Макарий по-арабски предали анафеме и отлучили от церкви всех будущих иконописцев и держателей неугодных икон.

Пришла для Никона соблазнительная минута поквитаться на глазах царя и восточных иерархов, Антиохийского и Сербского, со всеми своими противниками, натравившими на него чернь во дни морового поветрия<sup>17</sup>.

Никон брал в руки проклятую икону, зачитывал имя вельможи, у кого она была взята, и бросал на чугунные плиты пола. Ловко бросал – всякая икона от того броска раскалывалась.

Лазорев, оказавшийся рядом с тем местом, куда падали иконы, грешным делом засомневался. Иные доски были толстенькие, перегородками сцеплены, и всякая – надвое да натрое! Показалось полковнику – заранее были топориком расщеплены.

Иные иконы, разбившись, подкатывались царю под ноги. Ресницы у царя всякий раз вздрагивали от удара иконы об пол.

Расправившись с последней, Никон простер над грудой досок свои властные руки и приказал слугам:

– Все это на площадь и сжечь!

Царь вздрогнул, поднял опущенную голову:

– Святейший, молю тебя! Непусти казни огненной. Достаточно будет закопать иконы в землю!

– В огонь их! В огонь! Чтоб и пепла не осталось от ереси!

– Святейший! Непусти! Больно уж страшно – огнем жечь...

Никон стоял на амвоне, возвышаясь над царем, над боярством. Голова поднята, в глазах – неистовый огонь.

Рука, властная, завораживающая, медленно поплыла над толпой. Благословила царя.

– Да будет по слову твоему, великий государь! Да будет мир в наших сердцах! Да будет Бог наш пребывать в доме нашем!

Семь часов длилась служба, но антиохийцы не заметили, чтоб для русских она была в тягость.

---

<sup>17</sup> Пришла для Никона соблазнительная минута поквитаться... со всеми своими противниками, натравившими на него чернь во дни морового поветрия. – Бунт против Никона случился 25 августа 1654 г., во время чумы. Люди, недовольные разными новизнами – морозовскими, никоновскими, – воспользовались бедствием и попытались взбунтовать народ. 25 августа возле Успенского собора собралась толпа. Люди стали говорить, что на всех лег гнев Божий за поругание веры, во всем виноват, мол, патриарх, который дал волю еретiku старцу Арсению, поставив его к печатанию книг, и многие книги перепорчены и т. д., а также что патриарху пристало быть в Москве и молиться за православных, а он столицу покинул, и попы, глядя на него, разбежались, и проч. Они требовали, чтобы патриарх пожаловал в Москву, а также чтобы были приняты меры против печатания книг, исправляемых Арсением, и др.

12

Едва Алексей Михайлович вошел в спальню, царица Мария Ильинична, сидевшая на красной скамеечке, поджала губы и отвернулась.

– Кто тебя обидел, голубушка? – Царь спросил с таким сочувствием, что у Марии Ильиничны даже слезы из глаз брызнули.

Подбежал, обнял, головку погладил.

– Ну, полно же! Расскажи про печаль, тотчас и полегчает!

– Не-е-ет! – упрямо замотала головой Мария Ильинична. – Не полегчает.

– Да кто ж он, супостат? – осердился царь. – Уж я его!

– Не-е-е-ет! – еще горше замотала головой царица. – Ничего ты ему не сделаешь!

– Это я-то?! Царь?!

Мария Ильинична подняла заплаканное лицо, улыбнулась сквозь слезы:

– Царь! Царь! – обняла, уткнулась лицом в шелковую бороду. – Ложись поскорее! Заждалась тебя.

Ничего не понимая, Алексей Михайлович взошел с приступочка на высокую царскую постель, а с другой стороны царица в постель поспешила.

– Кто ж обидел-то тебя? – снова спросил царь с недоумением.

– Да ты и обидел.

– Я?!

– Опять ведь уезжаешь...

– Уезжаю. – Алексей Михайлович вздохнул. – Уж такая судьба, Мария Ильинична. Положиться не на кого. Я уехал с войны, и сразу все пошло вкось да вкривь... Сдается мне, однако ж, не про то у тебя обида.

– Нет у меня никакой обиды, а только горько! За тебя ж и горько... До какого страха дожили – иконы в церкви, как горшки худые, колотят! В царевой церкви! А кто колотит-то! Патриарх!

– То не иконы – анафема.

– Анафема?!

– Анафема. И Антиохийский патриарх про то же сказал, и Сербский митрополит.

– Да они все – попрошайки! На черное, ради милостыни, скажут – белое. И глазом не моргнут. Вздумается Никону в церквях по-козлиному блять, тотчас и подбрехнут: истинно-де!

– Голубушка, не говорила бы ты этак! На Никоне благодать Божия.

– И на нас она, на царях, благодать. Не худшая, чем на Никоне. Нечего мне про него думать! О тебе пекусь. Ты – царь! Тебе перед Богом за людей ответ держать.

Алексей Михайлович долго виновато молчал. Вздыхнул.

– Ты не права, голубушка! Никон – великий святитель. Он о государстве не меньше моего печется. Без него мне хоть пропадай. Все ж ведь у нас дуром делается. Живут дуром, воюют дуром. А Никона – боятся! Меня тоже, да не все... А его – все! Мне без него, голубушка, нельзя.

Осторожно погладил царицу по щеке:

– Ты уж не сердчай на меня. У меня тоже ведь сердце кровью обливается. Уж через неделю ехать от тебя... От Алексеюшки-сыночка, от сестриц. Скучлив я по дому!.. На иконы битые глядячи, я не меньше твоего плакал и печалился. Но ведь не унимаются злыдни! Не велено писать латинских икон – пишут! Не велено в домах ставить – ставят! У нас коли не поколотишь, так и не почешутся.

– Ох! – вздохнула царица.

Царь подумал-подумал и тоже вздохнул.

## 13

В то Соборное Воскресение на Неделе Православия в Тобольске произошли события, повергшие в страх многих бывалых храбрецов.

Среди еретиков и прочих хулителей православия, подвергшихся троекратному анафематствованию, был помянут защитник блудодея и кровосмесителя Иван Струна. Анафему проносил сам архиепископ Симеон, а сослужили ему в тот день все тобольские протопопы, иеромонахи, попы и дьяконы.

Едва прозвучало имя Струны, как боярский сын Петр Бекетов вскочил на алтарь и, замахнувшись на архиепископа, на стоявшего рядом с ним Аввакума, заорал, как на площади:

– Ах вы, сучье вымя! Царских слуг проклинать? Я вашим же проклятьем, как коровьей лепехой, в морды вам! В морды! Гривастые кобели! Рыла паскудные! Ну, погодите же у меня! Пошли, ребята, отсюда, от этих вонючих козлов!

Выскочил из церкви, какое слово ни скажет – все матерное. Вдруг зашатался, споткнулся. Лег. Да и умер.

Тотчас вышел из церкви с высоко поднятым крестом протопоп Аввакум и сказал с паперти, как с небес:

– Хулил Бога и Божеское – и ныне мертв и хулим всеми. Да обойдет сие тело жена и сын и всякий человек, ибо в нем дьявол и смерть. Пусть собаки его пожрут, лаятеля Бога, православия и священства.

Архиепископ жестокий запрет аввакумовский утвердил словом и молитвой.

Тело знатного землепроходца три дня лежало на площади, и никто не посмел подступить к нему. Все три дня Аввакум не выходил из церкви, молясь по душе усопшего, чтоб в день века отпущено ему было.

На четвертый архиепископ Симеон с протопопами и попами похоронил Петра Бекетова с почестями, положенными царскому человеку. Слез было пролито в тот день обильно, через прощение Бекетову всякий житель Тобольска чувствовал себя разрешенным от грехов. Один Иван Струна не унялся. Пришел к воеводе и сказал на Аввакума: «Слово и дело!» Все про то же, да еще смерть Бекетова на него взвалил.

Князь Хилков хоть и сочувствовал Аввакуму, однако донос о хуле на царя, патриарха и на царева слугу ни скрыть, ни задержать не смел. Отправил в Москву.

## 14

Савва, излечившийся в монастыре от ран, возвращался домой в деревню Рыженькую. Оставалось, после долгого пути, совсем немного.

Он шел целиною, мимо дороги – прямым путем, и мальчишечье озорство наполняло его сердце, и был он радостен, как телок.

Март выстлал крепкие, скрипящие под ногою насты. То звенела весна. От полыхающего злато-белым огнем снега исходил такой чистый дух, что душа принималась дрожать от весеннего нетерпения.

Мир купался в свету.

Савва, хоть и тащил на себе мешок поклажи, не чуял ни мешка, ни тела своего. Уж такая эта пора – март! Медведь в берлоге птицей себе снится.

Словно купол, обтянутый белыми атласами, отбрасывая снопы золотистого света в синее небо, на десять верст окрест блистала Рыженькая.

Савва остановился, глядя на деревню. Щуря глаза, поискал двор тестя.

По здравому рассуждению, надо было бы зайти к Малаху.

Не зашел.

В лес кинулся, к Енафе ненаглядной.

Праздник так праздник! Пусть сполна будет! Ну а ежели что иное... так про то лучше не думать. Смотришь – пронесет.

В лесу неба убавилось, а света словно бы и прибавило. Снизу вверх струился. Каждое дерево в убранстве, всякий сугроб – как шапка Мономаха.

Певуч мартовский свет, но в душе Саввы песня с каждым шагом тишала да и совсем смолкла. Тревога, как снежный ком, обвалила сердце.

Шел Савва сначала все бездорожьем, полагаясь на твердый наст и память, а потом, чтоб не сбиться, на тропу вышел.

Тропа оказалась набитая. Стало быть, людей в лесу много. Братья вернулись?.. Бег свой бестолковый поумерил. Война научила: сначала посмотри, а потом уж и высовывайся... Шел, шел Савва – да и стоп! Голоса из-под земли.

Замер, дыхание затаил – поют. Звук глухой, суровый, и точно – из-под земли его ветром тянет.

Сошел Савва с тропы. От дерева к дереву, как заяц, скачет и все слушает. Что за притча? Откуда оно взялось, подземное царство? Или, может, Лесовуха в колдовстве расстаралась?

Вот и поляна наконец. Дом Лесовухи... На крыше – крест! Вместо изгороди – кресты. Огромные, из бревен.

Хотел Савва в лес податься, обойти поляну стороной. Повернулся – человек с дубьем. Через плечо глянул – еще мужик.

– Кого выглядываешь?

Савва руку за спину – да и выдернул из мешка кистень.

– А вы кто такие?

– С тебя спрос! Мы – тутошние.

– Э, нет! – рассердился Савва. – Это я тутошний. С вас будет спрос за мою жену и дите!

Мужики опустили дубины:

– Ты муж благоверной Енафы?

– Благоверной?! Да что у вас тут, монастырь?!

– Не шуми, – сказали ему. – У нас житье тихое, несуетное...

– Где Енафа?!

– На молитве. Ступай и ты помолись с дороги.

Савва пошел, ни о чем уже не раздумывая – лишь бы Енафу увидеть.

## 15

Отворил дверь – и отпрянул. По всему полу камни, железные цепи, и все-то они вдруг колыхнулись, стоямя стали. Цепи звенят, камни шевелятся.

Сбежать не успел, сзади, тычком, помогли порог переступить.

Только теперь разглядел Савва, что камни и цепи – на спинах людей. Стоявший перед иконою темноликий старец с белым нимбом длинных косм повернулся к вошедшему и белой, без кровинки, рукою указал место возле себя.

Тотчас с Саввы сняли мешок и шубу, и он, косясь на молящихся – нет ли среди них Енафы, – прошел, куда ему указали, и стал на колени рядом со старцем.

– Покажем Господу смирение наше и трудолюбие! – сказал старец и, поднявшись с колен, перекрестился и снова пал на колени, а затем ниц.

– Поклоны! Поклоны! – зашикали на Савву, и он невпопад тоже стал подниматься и опускаться, сначала посмеиваясь про себя: слава Богу, конец службе, коли поклоны, – но старик кланялся и кланялся, а у Саввы уже и спина заболела, и пот рубаху насквозь прошиб.

Савва и остановился бы, но глаза его невольно косили на две каменные плиты, висевшие у старика на груди и спине. Каждая пуда на полтора-два.

У Саввы все жилочки, кажется, дрожали и болели, когда наконец старик и его паства утихомирились.

Расселись по лавкам, затихли, и Савва видел: один он дышит как загнанный жеребец.

Вдруг бесшумно, медленно, как во сне, поднялась крышка, закрывающая подполье, и появилась женщина с решетом на голове.

– Енафа! – закричал Савва, вскакивая.

Его схватили, усадили на место.

Енафа словно и не слышала крика. Пошла по кругу, и всякий брал из решета щепоть. На Савву не взглянула. И только уж когда перед ним остановилась, увидел Савва: ресницы ее опущенных глаз дрожат и рука, держащая решето, дрожит. Он взял то, что брали другие, и, следуя их примеру, не глядя, что взял, – сунул в рот. Это был изюм.

Енафа обошла всех, тотчас женщины обступили ее, одели в шубу, в валенки, повязали платком, увели.

Савва развернулся, чтоб схватить старца за грудки, а схватиться не за что – камень на груди.

– Отдай жену! – закричал Савва, колотя кулаками по лавке.

– В Енафе ныне пребывает Дух Божий, – сказал ему старец кротким голосом. – Мы от нее, пречистой, причащаемся.

– Кто вы такие?! Откуда взялись?

– Мы – духовные дети отца Капитона! – ответили ему, указывая на старца.

– Где дите мое?! Где жена?! – Кровь бросилась Савве в голову, рванулся он к своему мешку за кистенем.

Его подмяли. Он вырвался, но его опять грохнули на пол. Раздели, разули, связали.

Старец Капитон сказал что-то своим людям. И в углу, у двери, из крепких теснин очень скоро была сооружена решетка. Савва превратился в узника сумасшедшей братии Капитона.

– Смирись! – сказал ему старец. – Мы все тут смирению научаемся, и ты поучись.

Савва и сам уже скумекал – иного у него нет выхода, как изобразить раскаяние и смирение. Он понимал: хитрость его быстро расхитрят, молитвенники до людской души зоркие. Стало быть, смиряться надо с оглядкой, старцу вторить не тотчас.

Но человек полагает... Не пришлось Савве притворствоваться. Едва окончили с его заключением, как пришло время обеда. Со старцем Капитоном обедать сели одни мужчины, близкие его сподвижники.

Пригляделся к ним Савва – дивные люди. В глазах одних – сияние и восторг, а у других – бездна, дна не углядишь, а только человеческого совсем не осталось. И страх Савва приметил. На отца Капитона глянуть не смеют, перед иконами тоже головы не поднимают. И ни одного хитреца!

Страшно стало Савве.

Обед ему подали первому. Кружку квасу, кусок хлеба, дольку чеснока, глиняную миску, полную соленых грибов.

Савва шел с самого утра, проголодался крепко. Квас он выпил единым духом, хлеб съел тотчас, прикусывая чесночок... Грибы напоследок оставил. По запаху узнал – Енафа солила, а съесть посмел лишь пяток рыжиков. Всю миску бы умял, но остерегся: понял – за ним наблюдают.

Теперь пришла его очередь смотреть за трапезой своих тюремщиков. Кусок хлеба, вдвое меньший, чем дали Савве, двенадцать постников разделили между собой. Запили хлеб тремя глоточками квасу и съели по одному грибу. И все!

Далее возносили благодарственные молитвы Богу, а потом разошлись по делам.

Капитон вытянул из-под печи толстенную дубовую колоду и принялся вырубать из нее огромное какое-то корыто.

Савва чуть не спросил: «Свиной, что ли, держите?» Хорошо хоть, язык за мыслью не поспел.

– Овечек, что ли, завели?

– Зачем нам овечки? – кротко ответил Капитон. – Гроб себе приготавливаю.

– Да ты вроде бодр.

– Ни расслабленные, ни бодрые, ни умные, ни глупые – не ведают, что написано на скрижалях Божьих. А сердце, однако ж, болит: пришли последние времена. Вот и стараюсь.

– Старец Капитон! – взмолился Савва. – Вы все при делах, а я – празден. Дай и мне работу.

Старик принес ему мешок проса:

– Отбери зерна от плевел.

Савва хоть и ахнул про себя, за работу принялся тотчас, без присловья.

Поужинали луковичкой, корочкой и квасом.

Пришла пора ложиться спать.

Савве протиснули сквозь щели шубу.

– Братцы! – возопил узник. – Я ведь живой человек. Мне бы на улицу сходить перед сном-то.

Недолго думая, один из братии выбил топором теснину, потом другую.

– Ступай, прогуляйся.

Савва показал на ноги.

– Босым, что ли?

– Ступай босым. Скорее воротись.

Делать было нечего. Назад как козлик припрыгал. Да чуть и не сел на пороге от изумления.

Старец Капитон, зацепив крюком, притороченным к поясу, кольцо в потолке, – висел, покачиваясь, посреди избы.

За ним еще трое подвесились.

Заколотив за Саввою теснины, поднялся на воздуси и его главный тюремщик.

Висящие прочитали вечернюю молитву и заснули.

А у Саввы сна – ни в одном глазу.

«Господи! Да, может, они все неживые?»

Такого на себя страху нагнал, что зубы стали стучать.

Спрятался под вонючую овчину и до полуночи дрожал. А потом уснул. Сон и от самого себя лекарь.

Пробудились старцы, однако, ни свет ни заря. И опять пошло: молитвы, поклоны, рыдания.

Савва совсем уже агнец. Хоть и тесно ему в дубовом решете, но тоже кланяется, молитвы подвывает.

Еще день отлетел.

И наутро все то же. Под вечер, однако, затеяли старцы поклоны класть – и не сотню, не десять сотен, а – тридцать три сотни и еще три десятка и просто три.

На каждом старце вериги пудовые.

По полтыщи поклонов отбили, стали скидывать с себя камни и цепи: хоть и привычны к подвигу, но уж больно долгий путь избрали себе.

Савва тоже сначала кланялся, да хватило его на полторы сотни. Подвижники тоже стали сдавать, правда, по две тыщи все отклонялись, а на третьей многих силы оставили. И плачут, а подняться с полу не могут.

Тут у Саввы кровь-то и заиграла по жилам. Коли тюремщики лежмя лежат, сидельцу сидмя сидеть не пристало!

Капитон с упрямыми все старается. Но вот уж трое, а вот один Капитон – жила живучая. Слову, как Богу, верность держит. С пола встает – скребется всеми своими костями, встанет – качается, и хлоп, словно пол – перина пуховая.

Тут и Савва за работу принялся. Спинай, ногами, руками – оторвал две теснины, вылез на свободу, взял свои валенки, шубу, мешок – и в ночь.

Свобода!

Однако ж какая она свобода без Енафы, без дитяти! Забежал в лес – и лесом к своему дому. Только слышит – кричат и туда же, куда и он, поспешают мужики, бабы.

«Много же вас тут!» – удивился Савва и больше судьбу не испытывал, чашебой двинул на Рыженькую.

В мешке у него, слава Богу, сальце было да пирог с рыбой. Поел на бегу, силы и прибавилось. Потом и мешок в снег закопал. Жизнь – дороже.

К Рыженькой вышел по солнышку. Хватило ума и здесь поостеречься. Издали, прячась за забором, оглядел улицу у Малахова дома. И что же! Возле ворот лошадка в санях. Двое мужиков чужих. И еще один напротив, забор подпирает.

Савва от Малаха, как от чумы, к монастырю, но возле монастырских ворот тоже чья-то лошадка и других трое мужичков томятся.

Шарахнулся к церкви. А на паперти нищих целая свора. Попробуй тут высмотри чужого!

Не мед заячья-то доля! Всего страшно.

Вдруг смотрит – обоз к монастырю идет. Двое саней с рыбой, двое с хлебом, а на пятых санях – сено.

Вот на это сено и забрался, изловчась, Савва. Ворота перед обозом отворились и затворились. Тут Савва скок наземь – да в покои игумна.

Остановить его остановили, а Савва целует монахов, рад безмерно, что свои, православные, нормальные люди руки ему крутят.

На шум вышел игумен.

Всю жизнь выложил Савва игумну, а потом в ноги упал.

– Я – воин, пятидесятник, дай мне людей – разорю Капитоново гнездо вконец, людей от изувера избавлю, жену из паутины вырву!

Игумен подумал, бровь поднял, поглядел на Савву и руку ему подал для поцелуя:

– С Богом, пятидесятник! Бери монахов, лошадей! С Богом! По старцу Капитону давно уж Соловки рыдма рыдают... Пушечка у нас обретається, так ты и ее с собой прихвати. Пусть изведает страха Божьего.

## 16

Клокотало у Саввы сердце: вот уж как выморит он проклятых угодников! Как тараканов выморит!

На двенадцати санях прикатил. Первые сани с пушечкой развернули, лошадь выпрягли – ба-а-ба-ах!

Савва никуда и не метился и не знал, как метиться. Пальнул, а ядро хватить по колодезному журавлю. В щепу разнесло.

Визг поднялся, плач, стон. Смутилась душа у Саввы. Давно ли все тутошние перед ним были виноваты, и вдруг сам стал виноват, один перед многими.

– Ну, вы сами тут управляйтесь! У меня дело есть! – распорядился и, завалясь в сани, погнал к своему дому.

Выкатил на поляну, смотрит – и тут уже улепетывают. Четверо баб на ухватах, как на носилках, уносят Енафу. В лес бегут.

– Стой! – заорал Савва, сворачивая в снег, а лошадь – ух! ух! – да и стала.

Спасибо, пистолетом в монастыре обзавелся. Пальнул в снег перед собой. Бабы кинули ношу с плеч – и россыпью в елки.

Подбежал Савва к жене, а она сидит в снегу и не глядит на него. Взмолился:

– Енафушка, очнись! Подними глазки-то свои. Это я – Савва. Муж твой!

Тут и полыхнула на него Енафа глазищами:

– Не прикасайся! Я, очистясь от греха, – непорочна и совершенна.

Ударил черная кровь Савве в голову.

– Ах ты баба, телячья голова! Легко же тебя задурили! Скорее-о-охонько!

За шиворот поднял да наотмашь – по морде! И еще раз поднял – и опять, силы не умеряя.

А кровь-то не унимается! Лег на нее, о глазах досужих не помня, и насиловал, во всю свою береженую охоту, во всю муку. Потом уж, обессилив, перевалился лицом к небу, спросил:

– Вспомнила, чай? Али нет? Где, где ребеночек мой?! Да хоть кто он, сынок али дочка?

Тут Енафа и заревела, да так, будто пруд с весенней водой спустили.

Пришли в дом, а внутри он весь голубой, красный угол золотом расписан. Вместо икон – вроде бы голубятня, и в той голубятне мальчик, как в раю, золотым яблоком играет.

Савва как самого себя увидел.

– Сынок!

Кинулся, снял мальчишечку с верхотуры, к груди прижал. А мальчишечка пыхтит недовольно.

Енафа на лавку села, голову руками обхватя.

– Некогда рассиживаться! – крикнул на нее Савва. – Одевай сыночка. Да силы собирай. Сейчас монахи пожалуют.

Енафа успела в поневу нательные рубахи завязать да еще сунула ковшик серебряный за пазуху.

Савва посадил Енафу с сыном в сани, вывел лошадь из сугроба, за кнут уж было взялся, тут Енафа и скажи:

– В земляном терему братья твои спасаются.

Теремом оказался погреб.

Кинулся Савва туда – сидят голубчики. Сами себя замуровали в чуланчиках земляных. Разгромил кирпичную кладку, вынес мучеников на свет Божий, сложил колодами в сани и, не оглядываясь, погнал в Рыженькую.

На весь лес дымом пахло – монахи жгли избы.

## 17

У Малаха на столе жаворонки, а гости к Малаху как снег на голову.

Подкатали сани, снег заскрипел, дверь настежь – и вот они: Савва с Енафой, а Енафа с дитятей.

За столом у Малаха не как прежде – едок на едоке: Настена, да Емеля, да сам-третей.

Поклонился Савва хозяевам:

– Принимайте! – и Емеле кивнул: – Помоги-ка мне, свояк.

Принесли немых Саввиных братьев. Положили на лавках: одного у печи, другого возле двери. От братьев дух крепкий, как от нужника.

– Фу! – сказала Настена, и никто на нее не цыкнул.

Была Настена брюхата, а сидела хоть и не под образами, но уж так сидела – всякому ясно, перед кем в доме по одной половице ходят.

Хозяева и гости наздравствоваться как следует не успели – вдруг Енафа разрыдалась.

– Батюшка! Настюшка! Где же сестричка, где братцы?

– Эка дурь лесная! – первым пришел в себя Малах. – Целы все. Уймись! Маняшку замуж выдали. Приезжал в монастырь знаменщик из царевой Оружейной палаты, деисус подновлял<sup>18</sup>. Он и высватал меньшую. В Москве теперь живет. И Федотка с Егоркой там же. Они знаменщику подсобляли в храме, да перестарались. В учебу обоих забрал.

– Без лишних людей – в избе просторно, – сказала Настена. – Воздуху – как на воле.

– Ох, сестрица милая! Как же давно я вас не видела! – Енафа не заметила, что Настена губки поджимает. – Разнесло-то тебя! Никак, двойню родишь.

– Вон он каков! – кивнула Настена на огромного Емелю.

– Да что ж мы все стоймя стоим! – всполошился Малах. – За стол садитесь. Настена жаворонков напекла. Почти уж и перезимовали.

Савва показал на братьев:

– Баню бы затопить. Угодники Божии. Как из свинарника.

Малах и Емеля оделись и ушли – кто по воду, кто по дрова. Савва принялся хлопотать над братьями. Попросил у Настены молока томленого, из ложки поил, словно кутят малых. Кожа да кости. Оба седые, серые, жизни в каждом на волосок, а все ж светили ему глазами – на улыбку сил у них не было.

Пришел Малах.

– Скоро банька поспеет, у меня печка шустрая. Покудось отобедаем.

– После бани поем, – сказал Савва. – В себя, тестюшка, никак не приду. Ты знал, что у них там творилось?

– Слухи были.

– Слухи!.. Затоптал я осиное гнездо.

Енафа глядела перед собой, отщипывала от жаворонка крошки.

– Помоги, – сказал Савва Малаху. – У них и ноги-то не ходят.

– Господи! – удивился Малах, когда подняли старшего брата. – Мужик, а как малое дите, веса-то совсем нет!

Енафа и Настена остались с глазу на глаз.

– Вы что же, насовсем к нам? – спросила Настена, поглаживая себя по коровьим бокам.

Енафа все отщипывала кусочки от жаворонка.

– А ты что же, – наклонилась Настена к сестре, – ты у них за богородицу, что ли, была? Глаза Енафы наполнились слезами.

– Чудно! – сказала Настена. – Как мальчонку твоего зовут?

– Агнец.

– Такого имени отродясь не слыхала. Агнец – это ведь овца?

– Не знаю, – сказала Енафа.

– Ты словно бы спишь.

– Разбуди! Разбуди! – Енафа вдруг вдарилась перед сестрой на колени. – Да разбуди же ты меня!

– А вот и разбужу! – вскочила на ноги Настена, и была она в тот миг прежней Настеной, хитрой, веселой, охочей на выдумку. – Ты хоть помнишь, какой день сегодня?

– Какой?

– Да ведь Сороки! Из-за моря кулик воду принес, из неволя. Айда весну покличем! Как в девках!

---

<sup>18</sup> ...деисус подновлял. – Деисус – трехличная икона, включающая изображение Спасителя (посередине) и обращенных к нему в молитвенных позах Богоматери и Иоанна Предтечи. Эта икона была чрезвычайно распространена у нас в конце XVI–XVII вв.

Енафа поднялась с колен.

– Айда! – взяла несколько деревянных ложек, постучала одну о другую, дала сыну: – Играйся! Мама скоро придет.

Мальчик взял ложки и принялся колотить одну о другую. Енафа оделась, выскользнула за дверь.

Небо было затянуто белой ровной поволокой, в воздухе чувствовалась влага. Снег под ногой не скрипел, проседал податливо, будто смирившись с судьбою.

Они зашли за первые березки, обнялись, тихонечко кликнули:

– Ау!

И послушали. Тихо было в лесу. И пошли они друг от друга, от дерева к дереву, и замирали, и кликали:

– Ау-у!

И припала Енафа к березе. Уж больно кора у нее была белая, даже вроде и голубая.

– Ау-у! – позвала, и ветер вдруг прокатился над лесом, влажный, сильный, и Енафа услышала, как вздрогнула береза, так со сна вздрагивают, и сама задрожала: – Ау-у-у!

Угу-гу-гу-у-у-у! – гулял в вершинах весенний сильный ветер.

Енафа мимо давешних своих следов побежала обратно.

– Настя! Настя!

Настя шла ей навстречу.

– Ты что?

– Откликнулась!

– Кто?

– Весна!

Настена засмеялась:

– Я же говорила, что разбужу тебя.

– Пошли! Скорее, скорее! Домой хочу! В баню хочу!

– По Савве, что ли, соскучилась?

– По Савве.

И уже не слыша сестру – чуть не бегом. Останавливалась, поджидала тяжелую теперь на ногу Настену – и опять вперед, вперед, подметая подолом глубокие снега.

Братья-молчуны, в белых рубашках, намытые, расчесанные, сидели за столом с Малахом.

– А Савва где?

– В бане, – сказал Малах. – Всех намыл. Теперь сам парится.

Енафа сняла с полки над порогом веник и выскочила за дверь. Раздевалась в предбаннике как угорелая, руки и ноги дрожали, и сама вся трепетала. Дернула дверь в баню – не поддается. Еще дернула – никак! Чуть не заплакала, но дверь распахнулась.

– Это я, Савва! Это я пришла, спинку тебе потереть.

– А я уж и заждался, – подхватил ее, унес в банное, духмяное, пахнущее летом тепло.

## 18

Чем ближе дело шло к весне, к пахоте, тем скарее заглядывала едокам в рот бесстыдница Настена.

Братья поправлялись худо. Савва выносил их на солнышко, усаживал на завалинке. Они, как малые дети, радовались свету, птицам, летевшим на гнездовья, оттаявшей земле.

Емеля был хмур, за столом молчал. Поевши, уходил в сарай чистить стойло, готовить упряжь, соху, телегу. Савву он к своему делу не допускал, и тот, чтоб не сидеть сложа руки, резал из липы узорчатые наличники, новые ворота поставил.

Енафа все хозяйство взвалила на себя, но сестрица только фыркала да морду воротила.

Малах поглядывал, помалкивал.

Ждал, что само собой житье утрясется.

Савву недовольство Настены и Емели мало трогало. Он себя нахлебником не считал. Как жить дальше, не загадывал, но знал – хлеб и соль, придет время, отработает. К тому же и деньги у него были. На весенней ярмарке, чтобы утереть Емеле и слюни и сопли, купил лошадь, трехлетку. Купил и Малаху поклонился: принимай, тестюшка, подарочек. Малах даже расплакался: совестно ему было за Настену. Такая легкая девка, и на тебе – злыдня злыдней.

Однако пришла пора сеять.

Тут Настена и высказалась:

– Батюшка сам пожелал, чтоб мы с Емелюшкой жили в его дому. Старую избу Емелину спалить пришлось из-за чумы. Землю свою мы с батюшковой соединили, чтоб сподручнее было, а вы-то и явились, как галки. У нас, покуда дите не родилось, три рта, а у вас пять... Мы с Емелюшкой решили землю снова разделить надвое, а чтоб справедливо было, пусть и Емелино поле – пополам, и батюшкино тоже пополам.

Земля Емелина была много хуже Малаховой. Малах от гнева рот открывает, а слова сказать не может – вот наглая дочь! Но Савва засмеялся и сказал Малаху:

– Бог с ними! Вижу, извелась Настена, в рот нам заглядывая. Ты, батюшка, однако, сердца на нее не держи. Делиться так делиться. Мы и на малую часть вашей земли не заримся. Поправятся братья, встанут на ноги – мы уйдем. А покуда, Настена, терпи. Не то, злобой изойдя, лягушонка родишь.

Перепугалась невестка, язык прикусила, взгляды свои умерила: Савва – колодезник, ворожбу знает.

Землю поделили, однако. А тут Емелю монастырские люди в извоз забрали. Пахотой не отговоришься, на три дня прогон, земля еще и не провеялась как следует после снега и дождей.

Малаху тоже занедужилось, переживал-таки Настенину склоку.

Савва же, соскучившись по работе, вышел в поле. За первые два дня вспахал и засеял целиком Емелино поле, а на третий день принялся пахать Малахову земельку, и опять же не деля на ихнее и на свое. Осталось вспахать не больше трети. А уж и сам в поту, и лошадка. И кончить охота.

Стал распрягать, чтоб попаслась лошадь на молодой травке. Смотрит, Емеля скачет охляп<sup>19</sup>. Обрадовался:

– Вот и перемена подоспела!

А сам узел на вожже растягивает, затянул сильно. Сунул кнут за пояс, чтоб не мешал.

– Как съездил, Емеля? – спрашивает, а сам все с вожжой возится. – Я распрягу, а ты, коли не устал с дороги, попаши.

Поднял голову, а Емеля вот он, с лошади слез, подходит почему-то крадучись, правую руку за спиной держит.

– Что там у тебя? – улыбается Савва.

– А вот что! – закричал Емеля и огрел свояка по голове колом.

Рухнул Савва на колени, да и завалился на бок, кол от удара – надвое. Но Емелю это только распалило. Поднял ту половину, у которой конец заострен, встал над Саввой, да и приметался в горло.

– Я тебе покажу, как землю воровать!

Ох, если б не присловье это!

Через туманы докатилась до Саввы угроза, выхватил из-за пояса кнутовище, и, когда огромный Емеля согнулся, чтоб вонзить короткое свое оружие в упавшего, Савва ткнул кнутовищем снизу, целя в глаз.

---

<sup>19</sup> ...Емеля скачет охляп. – Охляп (охлябь) – верхом без седла, на голой лошади или на одном потнике.

И попал!

Катался Емеля по земле, выл, как волк, а Савва все встать не мог, чтоб себя спасти, чтоб врагу своему помочь.

Емеля все же первым в себя пришел, навалился на Савву, может, и задушил бы, да Малах с Енафою вовремя успели. Растащили мужиков. Оба в крови, в земле, оба стонут, хрипят. Связал Малах обоих и, дождавшись ночи, привез на телеге домой, семейству на радость.

Тут Настена от страха рожать взялась. Ничего, родила.

## 19

Обедали.

За столом сидели по чину: Малах, немые братья, Савва, по другую сторону стола – Емеля, Енафа, Настена, Саввин сын Агнец.

Тишина стояла, как на кладбище. У Емели глаз перевязан, у Саввы – голова.

По случаю грянувшей вдруг жары рамы с бычьими пузырями выставили, и в комнате порхал, как бабочка, горько-радостный запах цветущей черемухи. Черемуха цвести припозднилась, но взялась дружно. У Рыженькой весь подол черемуховый.

«Завтра уйдем», – подумал про себя Савва и, потянувшись через стол, погладил сына по льянной головенке.

На улице послышался конский топот, где-то баба завывала, другая... Перестали есть.

– Что еще? – спросил Малах.

И тут лошадь остановилась у ворот. Грохоча сапогами, в избу вошел патриарший, из детей боярских, человек.

– Чтоб завтра об эту пору быть у церкви с деньгами или скарбом на два рубля: рубль царю на войну, рубль патриарху на строительство валдайского да кийского монастырей. Да чтоб без недоимок! – Посланец треснул по стене кнутовищем и ушел.

– Знакомая морда, – сказал Савва.

– Из орды князя Мещерского, – откликнулся Малах. – Два рубля! Где же взять столько?

– У них! – ткнула пальцем в грудь Енафе Настена. – Мужика моего покалечили, вот и пусть платят.

– Заплачу, – сказал Савва и пошел лег на лавку – пол и потолок сноваплыли.

Мужики как тараканы, их травят – они терпят, а потом всем скопом – на стену.

Утром толпой пришли на двор к Малаху:

– Надоумь!

Встал Малах перед людьми, две пряди на голове русые, третья седая.

– Чуму Бог дал пережить, переживем и войну и Никона.

– Ты не умствуй! – стали кричать ему. – Ты про дело скажи. Как от Мещерского избавиться?

– Да ведь Мещерский не сам по себе, – возразил Малах. – Мещерский – слуга царя и патриарха. Свинье, чтоб раздобрела, по три ведра корма давай, а война – та же свинья. Только величиною она выше леса. Коли не будем ее кормить доброй волей, к нам во дворы явится, нас с вами, с женами, с детками, сожрет и не поперхнется.

– Окстись, Малах! – закричали мужики. – Сам знаешь – князь хуже зверя. Его бы задобрить чем, может, милостив будет.

– Нас помилует – с других вдвое возьмет, – сказал Малах.

– Так чего же?! Так чего же?! – зашумела толпа. – В топоры, что ли?!

– Дураки! – теперь уже закричал Малах. – Ныне у вас земля, избы, дети. А коли за топоры возьметесь – уж не видать вам Рыженькой вовеки!

Дали Малаху по уху, попинали маленько, тем бы и кончилась беседа, но у греха рожа прескверная. Вдруг сам князь вот он! Ладно бы со свитой и при оружии... С мальчиком ехал, с сыном своим меньшим. Приспичило князьям птиц в лесу слушать. Мужики, распалившиеся увещеваниями Малаха, обступили всадников. Лошадей за узду, а князь – плетью по лапам! Его и стащили с седла. Ох и закричал тут князь-мальчик!

Савва в тот миг на крыльце стоял. Енафа за ним прибежала, когда старшего князя бить принялись.

– Эй! – крикнул Савва мужикам, – С ума спятили? Прочь со двора!

Тут и к Савве кинулся мужичок с колом, а у Саввы пистоль в руках. Пальнул в упор – полбашки бедному снесло.

Кинулись врассыпную, только дух по селу. Медвежьей болезнью мужики занедужили.

Князь Дмитрий Мещерский подошел к Савве, руку пожал:

– Век не забуду! Сына спас, весь род наш спас.

И не забыл.

На другой уже день половина мужиков Рыженькой отправились на войну в Литовскую землю, а Савва с братьями, с семьей отбыл на остров Кий, надзирать за строителями.

## 20

Государь Алексей Михайлович, сидя возле открытого окошка, сочинял послание к своему войску. Сочинял сам, не доверяя важного сего дела ни думным дьякам, ни подьячим Тайного своего и пока что не обнародованного приказа<sup>20</sup>.

Пронять хотел государь служилых людей, так пронять, чтоб душой уразумели, как они должны стоять за него, государя, как должны обходиться с повоеванными людьми, чтоб польза была – и государю, и самим себе, и народу, отбитому у польского короля. Против прошлогоднего война шла куда как не прытко<sup>21</sup>. Солдаты в бега ударялись, воеводы словно бы бояться стали, что совсем поляков победят. А может, и наоборот, опасение имели, как бы удача не отвернулась. Сто побед и от одного поражения не спасут.

«Мы, великий государь, – писал Алексей Михайлович, – прося милости у Бога и у престрашные и грозные воеводы, пресвятые Богородицы, которая изволила своим образом и доднесь воевать их Литовскую и Польскую землю, и не могут нигде противу нее стати...»

Государь отложил перо, поднялся, перекрестился на икону Богородицы, трижды поклонился ей до земли и снова сел на стул и обмакнул перо в каламарь.

– И не могут нигде противу нее стати, – даже палец вверх поднял, – ибо!..

И загляделся, как птица вытягивала из-под листа лохматую гусеницу.

– Ибо...

«...Ибо писано: лицо против рожна прати, и, взяв в помощь честный крест, за изгнание православной веры будем зимовать сами и воевать, доколе наш Владыко свое дело совершит».

Снова кинул перо. Сидел сложа руки, глядя перед собой, притихнув, совершенно не думая ни о чем, хотя как раз про такую бездумную минуту мы и говорим: задумался. Не доду-

---

<sup>20</sup> ...Тайного своего и пока что не обнародованного приказа. – Приказ Тайных дел был создан царем Алексеем Михайловичем в 1654 г. и просуществовал до 1676 г. Тайный приказ подчинялся непосредственно царю и осуществлял контроль над государственными учреждениями.

<sup>21</sup> Против прошлогоднего война шла куда как не прытко. – Русско-польская война 1654–1667 гг. между Россией и Речью Посполитой велась Россией за возврат Смоленской и Черниговской земель, Белоруссии и за воссоединение Украины с Россией. В 1654–1655 гг. русские войска разбили основные силы поляков, освободили Смоленщину и большую часть Белоруссии. Военные действия шли с переменным успехом. В 1658 г. они возобновились. С 1660 г. инициатива перешла к польским войскам. Завершилась эта война Андрусовским перемирием в 1667 г.

мался, запечалился перед большим неведомым делом: воеводам самое время через Березину ступить.

И вдруг обрадовалось у царя сердце. Может, оттого, что имя у реки хорошее – Березина, береза, белое, милое дерево, может, самое чувствительное среди русских деревьев к весне, к лету, к осени. Березовый сок, зеленые листья на Троицу, золотые к новому году на Семенов день, на первое сентября.

«...И как даст Бог перейдем за реку Березину...»

Тут государь снова уперся глазами перед собой, потом покорно положил перо, подождал, пока высохнут чернила... Чернила высохли, государь свернул недописанную грамоту трубочкой, положил в ларец с бумагами, ларец запер, а ключ спрятал в потайное гнездо в подлокотнике кресла.

Прихватив с собою подъячих тайных дел Дмитрия, Башмакова да Юрия Никифорова, пошел поглядеть ружья, присланные патриархом Никоном. Святитель пожаловал десять возов: пять возов русских ружей, пять возов шведских. Алексей Михайлович брал ружья в руки, зорко осматривал и остался доволен.

В эту добрую минуту появился наказной гетман Иван Золотаренко.

– А я тебя дня через три ждал! – воскликнул Алексей Михайлович с полным простодушием и нескрываемой радостью. – То-то мне нынче золото снилось. У себя под лавкой две монеты нашел. А оно вот оно золото – Золотаренко, а от святителя нашего – оружие.

И, как давеча на ружья, зорко глянул на казака:

– Огненным боем богат? Коли нет – один воз твоим казакам. Нужно ли?

– Еще как нужно, великий государь. Ружья, гляжу, шведские.

– А наши тоже не худы. Возьмешь два воза: один воз шведских, один – московских. Чтоб за глаза чужое не хвалили и зазря своим не брезговали.

Узнав о прибытии казачьего отряда, появились воеводы Морозов Борис Иванович и Милославский Илья Данилович. Тотчас пошли в избу для совета, где казаку указали, куда ему идти, кого воевать и как скоро.

Казачий конный отряд отправлялся за Березину для наведения паники и отвлечения сил противника. Удар этот был заявкой похода на Варшаву, тогда как основные силы двигались на Вильну.

Лишившись Украины, Речь Посполитая потеряла правую руку. Царь и его воеводы задумали отсечь могучую левую – Литву.

Пожаловав казаков денежным жалованьем, Алексей Михайлович отпустил Золотаренко в набег и только после всех этих царских своих хлопот, поздней ночью, при свече, сел дописывать свой указ. Коли отряд за Березину и впрямь отправлен, можно и нужно приструнить солдатские вольности.

«...И как даст Бог перейдем за реку Березину, то укажем вам всем везде хлеб и животину брать в приставство. И вам бы служить, не щадя голов своих. А деревень бы не жечь для того, что те деревни вам же пригодятся на хлеб и на пристанище. А кто станет жечь, и тому быть во всяком разорении и ссылке. А холопу, который сожжет, быть казнену безо всякой пощады. Если кто побежит со службы или болезнь прикинет, не хотя служить, то быть ему казнену безо всякой пощады. И вам бы потщиться верою и правдою, от всего чистого сердца, с радостью, безо всякого сумнения, безо всякого ворчания. И переговоров бы о том отнюдь не было: кто скуден, тот пусть милости просит у государя, а не ворчит и не бежит со службы. А кто будет с радостью с нами служить до отпуску, тот увидит, какая ему государская милость будет».

Закончив указ, Алексей Михайлович позвал Дмитрия Башмакова и велел ему разбудить писцов:

– Пусть перепишут тотчас, и утром чтоб указ разослан был. А сам ступай со мной ко всенощной. Да не забудь с собою каламарь, перо да бумагу.

Вестей о победах пока что не было, и Алексею Михайловичу то было нестерпимо. Уж больно памятен прошлый победный год. Сеунщики<sup>22</sup> наперебой о городах взятых горланили.

А тут сам он до Шклова дошел, а воеводы – молчок.

Слушая всеношную, Алексей Михайлович раздумался о Бутурлине.

Боярин Василий Васильевич написал о торжественном приеме в Киеве, о сборах в поход с гетманом Хмельницким ко Львову и замолчал. А между тем до Бутурлина и Хмельницкого явилось срочное и важное дело.

Многие дворяне били челом, а иные, не дожидаясь государственной милости – с войны-то все равно не пустят, – ударились в бег. Не потому, что враг был страшен, а потому, что, пока хозяин с дворней был в ратном полку, крестьяне власти над собой не ведали. Сговаривались целыми деревнями и бежали на Украину, под защиту казачьей вольницы.

Во время чтения входных молитв перед проскомидией<sup>23</sup> Алексей Михайлович глянул на Башмакова и, когда тот приблизился, стал тихонько диктовать письмо воеводе Бутурлину:

– «В нынешнем году с Москвы и со службы от нас, от многих бояр и от всяких чинов людей побежали люди. Сбираются в глухих лесах, а собравшись, хотят ехать к Хмельницкому. К своей братье пишут, будто сулят им черкасы маетности, и многих своих бояр поставили пешими и безоружными. И вы, переговора с гетманом и перехватав их всех, велите...»

Тут государь стушевался и даже чуть оттолкнул от себя Башмакова:

– После службы допишешь.

Вражда к ближним, испытываемая на Литургии, – тяжкий грех. А у царя вертелось в голове, сколько надо казнить беглецов, чтоб охоту сбить к бегам. Одного – мало. Одной виселицы на Руси и не заметят. Сотню? Полсотни? – самому страха не оберешься...

Государь вздохнул, покрутил сокрушенно головою и принялся творить молитвы, изгоняя из себя ох не Господом навеянные думы.

Глубокой ночью, уже перед тем как лечь в постель, попросил Ртищева позвать Башмакова, а самого Ртищева отправил за квасом, чтоб с глазу на глаз с подьячим осилить пресыщенное место.

– Что там у тебя записано? – шепотом спросил Башмакова.

– «В нынешнем году...»

– Последнее читай! Последнее.

– «И вы, переговора с гетманом и перехватав их всех, велите...»

– «...Велите из них человек десять повесить в наших старых городах, в Путивле с товарищи, остальных же, высекши кнутом, пришлите в Москву и заказ крепкий учините, чтоб вперед черкасы их не принимали». А далее напишешь что положено... Ступай.

И спохватился:

– На-ко тебе, – взял из ларца три ефимка, один бросил назад. – За то, что и ночью тебе покоя нет.

Башмаков поклонился:

– Такая уж всем нам судьба, государь. Мы не спим – тебе служим. А ты не спишь – Богу служишь.

– Богу, – согласился Алексей Михайлович, а сам смотрел на огонек свечи: десятерых на виселицу...

---

<sup>22</sup> Сеунщик (сеунч – радостная весть, особенно о победе) – гонец, вестник.

<sup>23</sup> Проскомидия – первая часть христианской литургии, в которой священнослужители готовят хлеб и вино для евхаристии. При ее совершении из просфор – специальных хлебцев – вынимаются частицы в честь и память Христа, Богородицы, святых и т. д.; одна из таких частиц, кубической формы, называется агнецом, так как она представляет собою страждущего Христа. Все действия проскомидии имеют аллегорическое значение: просфора, из которой изымается агнец, означает Пресвятую Деву, дискос – ясли, жертвенник – вертеп вифлеемский и т. д.

Они, бедные, не ведают, что им уготовано. Бегут многие, а на виселицу – десятерых. Хорошие, смотришь, люди с жизнью расстанутся... Крестьянам лихо – бегут, дворянам лихо – царю жалуются. Царь – головы долой. Один царь кругом виноват.

Пришел Ртищев, принес квасу. Пить не хотелось, но Алексей Михайлович сделал несколько глотков. Улыбнулся Федору Михайловичу жалостно:

– Поспим, что ли? Свечу гаси.

Лег и затих. А глаз не сомкнул до петухов.

Государь спал, когда над Шкловом встала туча и разразилась сильная, но короткая гроза.

Утром воздух умывал людей бодростью.

Алексей Михайлович проснулся с ясной головой и спокойным сердцем. И тут – сеунч от стольника<sup>24</sup> Матвея Васильевича Шереметева. Взял воевода небольшой, но крепкий город Велиж. Дальний западный угол Смоленской земли, на границе с Псковской и Тверской землями перешел под руку Москвы.

Известие это было получено 26 июня 1655 года. А через десять дней, когда царь со своим Дворовым полком шел к Борисову, порадовали боярин Федор Юрьевич Хворостинин и окольничий Богдан Матвеевич Хитрово. Взяли у неприятеля Минск.

## 21

Полковник Андрей Лазорев с сотней драгун был послан к наказному гетману Золотаренко с приказом повернуть войско с западного, варшавского направления резко на север, к Вильне. Воевода князь Яков Куденетович Черкасский готовил западню литовскому войску Радзивилла и Гонсевского. Чтобы избежать случайности, Лазореву дали драгунскую сотню: дорога была не близкой, всяческого вооруженного сброда шаталось во множестве. Как знать, с малым числом людей, может, и ловчее было исполнить воеводский наказ.

Трижды пришлось Лазореву прокладывать дорогу оружием, сторониться городов, замков.

И случилось, что гонец проскочил стороною лагерь Золотаренко и встретился с отрядом черниговского полковника Поповича.

Дело было уже к вечеру, казаки в лагере под городом Свислочью торжествовали победу. Город горел, как вязанка хвороста.

– Неприятель весь под саблю пошел, – сказал Попович цареву гонцу, и лицо его было весело.

– За что же так? – спросил Лазорев.

– Засаду, свиньи, устроили. Полсотни казаков порубили – и головы на пики, нас подразнить.

– Хороша дразнилка.

Лазорев глаз не мог отвести от пожарища.

– Пошли в мою палатку, – пригласил Попович. – У нас праздник.

Андрей Лазорев понимал, что ничего уже не поправить, что зло породило зло, и все-таки не удержался:

– Города и невинных людей надобно беречь. Они – достояние государя.

– Беречь! – Попович фыркнул, как разъяренный кот. – Они не больно нас берегут, когда по землям нашим прохаживаются. Ты, полковник, помалкивай! Ты нашей крови оброненной

---

<sup>24</sup> *Стольник* – дворцовый чин (должность) в Русском государстве в XIII–XVII вв. Первоначально прислуживал князьям (царям) во время торжественных трапез, сопровождал их в поездках. Позднее стольники назначались на воеводские, посольские, приказные и другие должности.

не видел, наших детей, сваренных в котлах, из котлов не доставал, потому суд твой никому из казаков не указ. Гляди – и молчи. Нас послали воевать, мы – воюем. А как – то наша печаль.

– Убивать в бою и убивать после боя – не одно и то же, – сказал Лазорев, серея лицом. – Я, полковник, тоже жизнь-то прожил всякую. В Истамбуле был и в чуме был... Ты, полковник, присягнув великому государю – не сам по себе. Ты – часть России, а государь наш русский зря кровь лить никому не позволяет – ни боярину, ни холопу. Вот тебе его указ, где ни жечь, ни убивать не велено. Не слушаешь указа – самого казнят.

– Да я!.. – Попович схватился за саблю, но Лазорев стоял с указом и ждал, когда полковник опамятуется. Опамятовался, принял царское письмо, поцеловал печать. Прочитал царское послание вслух, этак Хмельницкий делал.

– Накормить ты меня и моих людей грозился, – напомнил Лазорев. – Нам в дорогу пора, к Золотаренко.

Попович вдруг просиял, обнял полковника:

– А ты, брат, не хуже казака! Ни в чем не хуже!

– Да и ты русскому ратному человеку под стать!

Тут оба полковника захохотали и пошли есть, потому что солдат что бы ни увидел и что бы ни пережил, а про еду и питье не забывает, ибо уже через час может и бой приключиться, и мало ли еще что.

Уже рано поутру, проскакав ночь напролет, Лазорев был у наказного гетмана.

Золотаренко тотчас поднял свое войско и направился, куда ему было указано; Лазорев же со своими драгунами остался в лагере, чтобы дать передышку людям, а главное – лошадям.

Свято место пусто не бывает. Едва ушел Золотаренко, привалил измученный до смерти отряд изменника Поклонского. В отряде давно уже не слушали приказаний. У кого лошадь была сильнее – приехал раньше, у кого не кормлена – позже. Жолнеры<sup>25</sup> занимали свободные хаты. На то, чтобы кого-то выгонять, сил не было.

Барский дом, где размещался Золотаренко со своими драгунами и где теперь спал Лазорев с дюжиной человек, жолнеры обходили стороной, оставляя его для полковника.

Поклонский был ранен в плечо, езда верхом совершенно разбила его, и он, войдя в залу, лег на свободный диван и заснул сном праведника, хотя этот эпитет, может, и не приличен для сукина сына, изменявшего полякам ради русского жалованья и русским – ибо жалованье показалось недостаточным.

Лазорев спал в соседней зале, в голубой. Проснулся в полдень. Позевывая, протирая глаза, направился на двор, но, открыв дверь в пурпурную залу, остолбенел. На диване спал поляк! Лазорев и сморгнуть не успел, как Поклонский проснулся – солдата Бог бережет – и уставился на русского полковника в полном изумлении.

– День добрый, – сказал Лазорев.

Полковник Поклонский увидал, что сабля при нем, удивился еще более, прочистил горло в кулак и ответил по-русски:

– Здравствуйте!

Воцарилось молчание.

– Полковник Лазорев, – представился Лазорев.

– Полковник Поклонский, – звякнул шпорами Поклонский.

– Ты что же, отдыхаешь? – спросил Лазорев.

– Да, с дороги, – ответил Поклонский.

– Вот и мы... Здесь Золотаренко стоял.

– Золотаренко? – На лбу Поклонского выступила испарина.

---

<sup>25</sup> Жолнеры – польские ратники, солдаты.

– Знаешь, – сказал Лазорев, – я все-таки раньше тебя прибыл. Так что я за хозяина – прошу к столу. У Золотаренко и с едой и с питьем не худо было.

– Охотно принимаю приглашение, – перевел дух. – Трое суток почти с лошадей не сходили.

– Прикажи-ка своим не затевать свалки, – сказал Лазорев. – Я своих тоже предупрежу.

В покинутом господском доме происходила престранная и преудивительная трапеза. За столом, который собрали из столов и столиков по всему дому, жолнеры и драгуны насыщались едой, оставленной расторопными казаками. Жолнеров было раза в два больше, но многие среди них имели ранения, и все они были беглецами.

Поклонскому и Лазореву стол накрыли отдельно.

– Я буду с вами откровенен, – говорил Поклонский, отведывая прекрасное молдавское вино. – Однако почему вы не пьете? Учтите, мои мысли от вина не путаются, а, наоборот, приобретают ясность и твердость.

Лазорев показал шрам на голове:

– Вот эта метка не позволяет. От одного глотка память теряю.

– Верю! – сказал Поклонский. – У вас честные глаза. Я вам верю... А вы мне верить не можете, потому что я и королю служил, и вашему царю присягал... но отныне я служу самому себе. Второй жизни мне ни король, ни царь не пожалуют. Вчера мы здесь были властелинами, сегодня вы, а завтра здесь будут шведы. Народ жалко.

Народ и Лазореву было жалко, но он помалкивал по московской привычке.

– А шведы тут при чем? – спросил Лазорев.

– Королева Кристина отеклась от престола, а Карл Густав сложа руки долго сидеть не станет. Радзивилл – протестант. И Карл Густав – протестант.

– Ну и что?

– Вы меня еще вспомните, когда Радзивилл, потеряв Вильну, отречется и от нас и от вас и примет власть шведа, чтоб и вам и нам утереть нос.

– Откуда все это ведомо? – уклончиво сказал Лазорев, не привыкший судить государевы дела.

Поклонский рассмеялся:

– Мне ничего не ведомо. Просто на месте Радзивилла я выбрал бы шведов. У вас Бог – как царь, царь – как Бог, и так до последнего дворянчика, и даже в семье то же самое. Отец – бог, сын – раб, жена сына – рабыня, а он жене – бог. Слишком много богов!

– Так ведь каждый человек создан по Божескому подобию, и Бог у него в душе, – сказал Лазорев. – Плохо ли? Бояться Бога – от сатаны уберечься.

– Ловко, полковник! – изумился Поклонский. – Я думал о русских много хуже...

В дверь постучали, вошел старый поляк:

– Пану хорунжему совсем плохо.

– Пуля у него в голени, – сказал Поклонский. – Он очень молод, а молодые терпеть не умеют.

– У меня коновал есть – любую пулю вытащит.

Лазорев вышел в зал, где много людей весело и дружно ели вкусную всякую всячину, уже не примериваясь, как соседу голову проломить, но, перемогая язык, спрашивали друг друга про жизнь, чего едят, что сажают, велик ли урожай, много ли земли.

– Парамон! – обратился Лазорев к пожилому драгуну. – Молодой у них один помирать собрался. Может, достанешь пулю?

– Надо поглядеть.

Парамон ушел к раненому, пир продолжался.

– Жаль, женщин нет, – поиграл глазами Поклонский, – в таких залах только бы мазурки танцевать. Впрочем, вам, русским, наслаждение танцами неведомо.

– Ведомо, – сказал Лазорев. – Я ваши танцы видел. У нас веселей пляшут. Иной так поддаст – не усидишь!

– В плясках действительно бывает много огня, но они все-таки – дикарство, – сказал назидательно Поклонский.

– Всяк по-своему с ума сходит. Судить чужую жизнь – с Богом равняться. Бог знал, что делал.

– Этак всякое зло, всякую гадость можно оправдать и на Бога свалить! – вскипел Поклонский, и Лазорев, которому надоел словоохотливый поляк, предложил:

– Поглядим, как дела у Парамона.

В зале было уже пусто, драгуны и жолнеры вышли на воздух. Тут и командиры пожаловали.

«Операция» шла под открытым небом. Дюжие жолнеры держали хорунжего, а коновал Парамон копался ножом и шилом в его ноге.

– Вот она! – вскричал радостно Парамон, поднимая двумя пальцами расплюснутую свинцовую пулю.

Жолнеры отпустили хорунжего и радостно смотрели на русского лекаря, который изловчился найти в кровавом месиве раны пулю и достать ее.

– Браво! – крикнул Поклонский.

И тут грянул выстрел. Хорунжий, оставленный без присмотра, вытянул спрятанный в изголовье пистолет и то ли в бреду, то ли еще как, но пальнул русскому в лицо. Парамон рухнул, обливаясь кровью.

И началась пальба и резня. Столько в этой схватке накоротке было ненависти, что о жизни не думали. Смерти жаждали.

Один, может быть, Поклонский не потерял головы. Приставая пистолет к груди Лазорева, он потащил его к лошадям.

– Вот тебе лошадь, вот мне! И пусть все это быдло, ваше и наше, в крови утонет. Прощайте!

Вскочил в седло.

Лазорев стоял не двигаясь. И Поклонский навел на него пистолет:

– На коня!

Лазорев сел.

– Вперед!

И только через версту приказал остановиться.

– Ну, пан полковник, мне на запад, а тебе на север. В старости еще добрым словом помянешь изменника Поклонского... А за одним столом-то нам, видно, не сиживать. Как сам ты говоришь: Бог того не велит. Прощай.

И ускакал.

Лазорев повернулся в седле, поглядел на кущи деревьев, где совершилась чудовищная человеческая мерзость, и понял, что хватит с него. Хватит с него царской службы, убийств во благо государства, плетей и казней ради благополучия дворянства.

Поглядел вокруг. Зелено. Луга в цвету. Птицы поют счастливое.

Повернул коня в луга и поехал неведомо куда, лишь бы людей не видеть.

## 22

Трава была коню по брюхо. Подъехал к лесу. Огромные дубы, растопырив могучие сучья, держали кроны высоко над землей, и Лазорев, даже и не подумав о том, что может заплутать, сгинуть в бесконечной чащобе, направил коня под зеленую кровлю.

Скоро лес стал густ, пришлось сойти с коня, но полковник упрямо шел напрямик и радовался плотной зеленой стене, какая вставала за ним, заслоняя всю его прошлую жизнь.

Но вот день стал клониться к ночи, захотелось есть.

Лазорев наконец-то обратил внимание на сумку, притороченную к седлу.

Малиновый кафтан с золотыми пуговицами, и в каждой цветной камешек – богатейшая добыча, мешочек с серебром небольшой, но увесистый. Женские платья, в другом отделении – сапоги, две серебряные ендовы<sup>26</sup>, три шапки: кунья, соболя и суконная, но с камешком и с пером. И, к великой радости Лазорева, кремень с кресалом да завернутый в холст добрый, фунтов на пять, кус крепко соленного, крепко перченного сала.

Лазорев отрезал малый лепесток для пробы. Сало было отменное. Пожалел, что хлеба нет, да и о воде надо было подумать.

Погладил коня. Коню тоже пора было подкормиться.

Лес давно уже стал неуютным, под ногами прелые листья, ни травинки, ни цветочка. А то вдруг крапива – стеной.

Конь почуял беспокойство нового своего хозяина и стал тянуть его все влево, влево. Лазорев понял, что конь взялся его вести, и приотпустил узду.

Еще при солнце вышли к озеру. Другого берега и не видать. На озере островки. Один большой, а малых чуть ли не дюжина.

Лазорев стреножил коня, снял с него сумку, запалил костерок. Набрал воды в ендову – и на огонь. В воду сальца осьмушку, крапивных листов, заячьей капустки. Вот и уха!

Пора и о ночлеге было подумать. Спать возле озера сыровато. Набрал сушняку, заодно дубину выломал: всего оружия – нож. Покончил с делами, сел у воды, засмотрелся.

Белые лилии, цапли в камышах, покой.

И пошла вдруг жизнь перед глазами, картинка за картинкой. Первый бой, первый убитый, поход в Истамбул за жизнью неугодного царю человека, Соляной бунт...<sup>27</sup> Сек плетью, волочил в тюрьму, вез на казнь. И наконец, чума.

Поплыла земля перед глазами, согнуло вдруг Лазорева в три погибели, да и вывернуло. Вся служба его, вся жизнь – одна блевотина.

Отполз Лазорев к костру, навалился грудью на сумки с чужим, с награбленным добришком и забылся.

Плохо ему было очень. Пробуждался в ознобе.

Конь к нему подходил. А потом сам дьявол: сидел черный, глаза без зрачков зеленые, блевотину его лакал.

– Подавиться тебе жизнью моей! – сказал ему Лазорев и глаза закрыл.

А потом пришли дьяволята, потащили в ад. Лазорев не противился. В глаза било ярим огнем, но огонь тотчас кутался в густом облаке пара.

«В виде бани ад-то у них», – подумал Лазорев, покорный судьбе.

---

<sup>26</sup> Ендова – широкий сосуд с носиком для разливки питья.

<sup>27</sup> *Соляной бунт* – одно из названий московского восстания 1648 г. Стремясь пополнить казну, правительство Бориса Ивановича Морозова сократило количество дворцовых чинов, урезало или отменило вовсе оклады стрельцов, урезало доходы местной администрации и т. д. Чтобы решить финансовые затруднения, правительство в 1646 г. ввело в большинстве уездов высокий косвенный налог на соль – 2 гривны с пуда, что вызвало массовые возмущения населения. 10 декабря 1647 г. налог был отменен, после чего правительство распорядилось собирать прямые налоги в тройном размере. В государстве прошла волна восстаний. Московское восстание началось 1 июня 1648 г. во время возвращения царя Алексея Михайловича из Троице-Сергиева монастыря. Жители попытались подать царю челобитную, однако охрана разогнала толпу, а зачинщиков арестовала. 2 июня царь был остановлен на Красной площади, ему высказали жалобы на налоги и разорение. Вслед за царской каретой толпа ворвалась в Кремль. Царь и патриарх безуспешно пытались успокоить народ. К черным посадским людям пригнали драгуны одного из полков. Восставшие требовали выдачи ненавистных правителей – Морозова и его приспешников. Более 30 дворов было разгромлено, некоторые начальники приказов убиты. Морозов с трудом укрылся в Кремле. Правительство срочно пошло на уступки: Морозов был сослан, взыскание недоимок отменялось, удовлетворялись другие просьбы служилых людей.

И может быть, из-за того, что покорился, стало его баюкать и покачивать. И долго, сладко баюкало и покачивало...

«Господи! Может, я в дите обернулся?» – подумал Лазорев, и тоненькая надежда на добрую, на новую, с детства начатую жизнь пробудилась в нем несообразно и нелепо.

Наконец он открыл глаза. Перед ним на стуле с высокой спинкой сидел мальчик. Бело-головый, синеглазый, серьезный. Он увидел, что Лазорев открыл глаза, радостно ударил в ладоши, соскочил со стула, подошел к изголовью и поцеловал Лазорева в щеку. Губы были легкие, теплые.

– Ты – это я? – спросил Лазорев, все еще не отойдя от наваждения.

Мальчик что-то залепетал непонятное и убежал.

Лазорев повел глазами кругом. Просторная, на века сложенная изба. Да не изба – хоромы. Тесаные бревна в обхват, дубовые. Печь большая, но не русская, не такая. Стол длинный, дубовый. Лавок нет. Высокие стулья вокруг стола.

Лазорев потрогал лоб. Холодный.

Попробовал привстать. Голова не закружилась.

И тут в горницу вошла женщина. Простоволосая, волосы белые, с золотинкой, как сноп соломы. Глаза синие. Лицо чистое. Улыбнулась. Поправила ему подушку и, что-то весело говоря, принесла питье. Он выпил: вроде бы на бруснике настояно. Женщина о чем-то спросила его. Он улыбнулся, потому что не понимал.

Закрываясь одеялом, сел.

– Одежду бы мне, – провел рукою по груди.

Она замахала руками. Ушла и тотчас вернулась с деревянной чашкой и куском хлеба. Подстелила кусок холстины, чтоб не закапал постель, принесла белый круг от кадушки.

На этом столе, сидя в постели, Лазорев поел впервые за болезнь. Пока он ел, пришел мальчик и с ним девочка, чуть его постарше, такая же белая и синеглазая.

Похлебка была гороховая, очень вкусная. И хлеб вкусный, не наш, но душистый, воздушный.

– Спасибо, – сказал Лазорев, возвращая пустую миску. – Одежду бы мне.

Женщина кивнула, подала штаны и малиновый кафтан.

– Нет! – засмеялся Лазорев. – Мое принеси! Другое.

Женщина опять поняла, принесла драгунский кафтан, вычищенный, выглаженный.

Лазорев оделся. Встал. Его шатнуло. Женщина, вернувшаяся в комнату, шагнула было к нему, но он засмеялся. Пошел сам, держась ближе к печи. И очень удивился, когда увидел, что со стороны топки это – целое помещение, с огромным, висящим на цепях котлом! Дымоход прямой. Небо видно.

Сходив в отхожее место, Лазорев поднялся на пригорок. Кругом вода. Остров зеленый, кудрявый.

«Вот и жить бы тут, никому не мешая», – подумал Лазорев.

Мальчишечка взбежал к нему на пригорок, взял за руку, стал показывать на острова, называя странные, нерусские названия.

Рука у мальчика была ласковая, маленькая. Лазорева вдруг переполнила нежность к этому чужому доброму ребенку. Он поднял его на руки. И мальчик просиял, как солнышко, и потрогал его за усы.

– Где твой отец? – спросил Лазорев. – Батя? Папа?

Мальчик пальцем сделал круг возле шеи и поднял палец вверх.

– Повесили, что ли?

Лазорев спустился с холма.

Женщина стояла на крыльце.

– Где твой муж? – спросил он ее. – Его отец? Папа?

– Нет, – сказала женщина. Она выучила это его слово.

Лазорев разделся, лег, заснул. Всего на час какой-то, но проснулся здоровым. Женщина сидела и смотрела ему в лицо, как утром мальчик.

– Раса! – Она приложила ладонь к груди своей.

– Андрей, – сказал он.

– Андريس! – воскликнула она.

– Раса, – сказал он.

Женщина показала на девочку:

– Раса.

– Еще Раса? Вот так штука. А тебя как зовут?

– Микалоюс.

– Николка, значит!

– Николка! – звонко повторил мальчик.

Женщина взяла Лазорева за руку и повела на скотный двор. У нее было три коровы, два теленка. Три свиньи, лошадь, его – вторая.

– Хорошо, – сказал он Раса.

Она раскинула руки, потом свела их, соединила ладони и словно подала ему остров. Он улыбнулся. Она, чуть сдвинув брови, взяла его за руку и повела за холм, через дубняк. Здесь было поле, засеянное рожью. Десятины четыре. Потянула дальше и вывела к другому полю, чуть меньшему. Здесь была конопля и огород с капустой, морковью, свеклой, огурцами.

Потом они стояли над озером, и Раса была тиха, как озеро, и печальна, потому что не понимала, понравилось ли русскому ее хозяйство или нет.

Когда они вернулись, она положила перед ним сумку, которая досталась ему случайно. Он вытащил платья и отдал Раса. Раса вспыхнула радостью. Он развязал мешочек, выудил сережки попроще, серебряные с прозрачными камешками, и положил в ладошку маленькой Раса. Она тотчас сняла свои медные, и бриллианты длинными синими огнями засверкали на маленьких ее ушах. Большая Раса всплеснула руками. Заговорила что-то быстро, тревожно.

– Ничего, – сказал он, поняв свою промашку. – Вырастет – пригодятся.

Большой Раса он подарил нитку жемчуга. И тоже и обрадовал и перепугал.

– А тебе что? – спросил Лазорев Николку. – Тут три шапки. Одна твоя.

Кунья шапка досталась мальчику.

Раса-мать смотрела теперь на Лазорева с удивлением и страхом. А он был все тот же.

Поужинали вместе. Пришла пора спать ложиться. Раса-мать уложила детей на печи. Перекрестила, сама перекрестилась и, задув лучину, легла рядом с Андреем.

«Прости меня, Любаша, – сказал он, вздохнув долгим вздохом. – Не я искал, Божиим Промыслом все устроилось».

Только год спустя Андрей Лазорев узнал, что не один в мужья попал. Года за три до той резни, нечаянно вспыхнувшей в усадьбе, где была резиденция Золотаренко, местный властелин перевешал в селе двух из трех мужиков за то, что примкнули к казакам Хмельницкого. Вот почему, едва кончилось побоище, в усадьбу сбежались женщины и пособирали раненых. Два десятка русских мужиков, выхоженных литовскими женщинами, остались хозяйствовать на земле. И новый хозяин этой земли про ту прибыль помалкивал. Про женскую же сметливость – легенда ходила.

30 июня 1655 года на государев стан в селении Крапивне, в пятидесяти верстах от Вильны, прискакал сеунч воеводы Якова Куденетовича Черкасского: Божию милостью, а его, государевым, счастьем литовские гетманы Радзивилл и Гонсевский побиты в большом бою.

Бой шел с шестого часа дня до ночи, гетманы бежали за реку Вилию, а воеводы князь Яков Куденетович Черкасский с большим полком, князь Никита Иванович Одоевский с передовым полком, князь Борис Александрович Репнин со сторожевым полком, другой князь Черкасский с ертаульным полком да наказной гетман Иван Золотаренко с казаками подступили к стольному граду Великого княжества Литовского, к Вильне, да и взяли.

Сеунч прискакал до зари, но Ртищев по такому великому случаю разбудил государя.

– Ну, слава Богу! Слава Богу! – говорил государь, целуя на радостях всех, кто оказался рядом.

Комнатного своего стольника Ладыженского даже по голове погладил.

– Не зря Бог нас вчера надоумил грамоту о приготовлении для войска шубных кафтанов написать. Зимовать в Литве будем, за Березиною! Ты, Ладыженский, и поезжай к воеводе князю Якову Куденетовичу с государевым жалованным словом! В каждом полку будь и всех воевод о здравии спрашивай!

Башмакову тотчас было дано приказание отписать во все концы известие о победе, а сам государь сел за письма Никону, царице и сестрам. Пока писал, надумал, как ему, государю, входить в Вильну. Кликнул Ртищева, рассказал задуманное и, несмотря на поздний час, велел ему ехать в Вильну приготовить к торжеству войско и горожан.

Отслужив утрению, Алексей Михайлович со всем дворовым полком отправился в путь.

На первом же стане, верст через десять, написал царице и сестрам еще одно письмо: «Постояв под Вильною неделю для запасов, прося у Бога милости и надеясь на отца нашего великого государя святейшего Никона патриарха молитвы, пойдем к Оршаве».

## 24

– Каретка-то у тебя мягонькая. На колдобинах нутро не булькает. Эко! Эко! Как в зыбке! – Старичок-праведник радовался по-ребячески, и Алексей Михайлович, слушая этот веселый щебет, отдыхал душою. Действие совершалось для России великое: государь входил в поверженную столицу. После Казани то была первая столица, взятая с боя у неприятеля столь великого, что в прошлом царствии ни один прорицатель не посмел бы сей великий день возвестить. А вот, однако ж, свершилось!

– Церкви-то у них как боярские дома. Не будь крестов – не узнал бы.

– По-иному живут, – согласился Алексей Михайлович.

– По-иному! А люди такие же! – Старичок прижимался лицом к стеклу, разглядывая народ, глазеющий на царское торжественное шествие. – Одеты не по-нашему, а такие же!

Красные сукна и бархат устлали государев путь сразу же за городскими воротами перед Остробрамским костелом, прославленным чудотворной иконой Остробрамской Божией Матери, одинаково почитаемой католиками и православными.

Впереди царя шел его старичок, одетый в рубище.

Алексей Михайлович, уступая первенство нищему, являл миру пример истинной земной мудрости. «Все под Богом ходим! – говорил Европе этот простецки наивный жест. – Не сила сломила силу, но Бог того пожелал! За правду наградил».

Приложившись к иконе, царь проследовал в собор Богородицы, построенный тверской княжной Июлианой, отданной замуж за великого князя Ольгерда. Почти двести лет собор этот был кафедральным для православной митрополии Литвы и Западной Руси. Здесь покоились останки Ольгерда и Июлианы.

Глядя на шестерку светло-гнедых коней, на золотую карету, полыхающую изнутри благородным темно-огненным бархатом, на шествие по дорогим тканям, на множество свиты, одетой по-царски, на царя в ризах, сиянием и великолепием не уступающих ризам Царя Небесного, горожане Вильны должны были сообразить, что пришла власть великая и вечная.

Сам государь, добравшись до резиденции, не об отдыхе побеспокоился, но сел писать очередное письмо: «Молитвами отца нашего и богомольца великого государя святейшего Никона, патриарха Московского и всея Великая и Малая и Белая России... мы взяли у Польши город Вильну, столицу Великого княжества Литовского, некогда принадлежавшие нашим предкам, равно мы взяли Белую Русь, и милостию Божиею мы сделали Великим Государем над Великим княжеством Литовским наших предков, и над Белою Русью, и над Волынью, и Подоліей...»

Желал себе похвалы государь не от стариков Романова или Морозова – та похвала была для него малая, – желал он похвалы от Никона, похвалы жданной, а потому и сладостной.

1 сентября от Никона пришло государю благословение на принятие титула великого князя Литовского.

И уже через день, 3 сентября 1655 года, был издан указ о новом полном титуле царя Московского.

– Иван-то Васильевич, глядя на нас, вельми, думаю, радуется, – сказал Алексей Михайлович Ртищеву в тихую минуту перед сном.

– А какой же это Иван Васильевич? – не понял Ртищев.

– Да тот, что Грозным звался, – ответил царь, улыбаясь. – Я-то ныне, чай, тоже Большая Гроза. Пришел воевать, а вроде бы уж и не с кем боле.

## 25

У царя война, у людей простых – жизнь. Во дни царского триумфа в далеком северном Кандалакшском монастыре произошло малое событие. С тремя духовными сыновьями бежал присланный на исправление непокорный патриаршей воле протопоп Иван Неронов.

Не в леса бежал, отсидеться в потайной норе. На лодке ушел, в море. Был ему ветер попутным, и пристал он к острову, под самые купола святой Соловецкой обители.

Тихо сиял светлый холодный августовский день.

Монах-вратник, впуская четырех странников, указал им корпус для простого люда. Неронов смиренно отправился, куда ему указали, но один из его духовных детей приотстал и шепнул вратнику:

– Это же Неронов! Игумену поди доложи.

Монах про Неронова не слыхал, а потому не удивился и с места не стронулся. Перед самой уж вечерней, сообщая архимандриту прибывших и отбывших за день, вспомнил и Неронова.

– Неронов, говоришь?! – удивился игумен.

– Да вроде бы Неронов.

– И когда же он прибыл?

– После утрени.

Тут игумен цапнул вдруг вратника за космы, да и треснул лбом о стол.

– За что?! – взмолился вратник.

– За гордыню и глупость! Неронов-то небось в рубище, вот ты его и не узрел, крошечная твоя душа.

Ударили вдруг колокола по-праздничному. Архимандрит Илья с братией явился в палату для бедных гостей. Нашел Неронова, благословился у него и повел в храм.

После службы вся соловецкая братия обратилась к гостю своему, прося слово молвить. И сказал Неронов:

– Братия монахи, священники и все церковные чада! Завелись новые еретики, мучат православных христиан, которые поклоняются по отеческим преданиям. Также и слог перстов по своему умыслу скажут. А кто им непокорен – мучат, казнят, в дальние заточения посы-

лают. Аз, грешный, в Крестовой, перед собором всех властей, говорил таковы слова: «Подал равноапостольный благочестивый государь царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси тебе, Никону патриарху, волю, и ты всякие ругания творишь, а государю сказываешь: “Я-де делаю по Евангелию и по отеческим преданиям!” И еще говорил ему и вам то же сказываю: «Придет время – сам с Москвы поскачешь, никем не гоним, токмо Божьим изволением!» Да и вы, коли о том станете молчать, всем вам пострадати! Не единым вам сие глаголю, но и всем, на Москве и на всех местах. За молчание всем – зле страдати! А во оном веце каков ответ дадим Владыке нашему истинному Христу и святым его страдальцам?

И замолчал. Слезы полились из глаз его. Архимандрит Илья подошел к Неронову и воскликнул:

– Страдальче, бием одолевай! Храбрый воине, подвизайся! – и поклонился трижды.

И вся братия поклонилась Никонову узнику.

## Глава вторая

### 1

Враг язык, Бог да судьба взгромоздили Аввакума и его семейство на корабль мытарств, и поплыл тот корабль, гонимый царевым гневом, по морю испытаний.

Приказано было отвезти протопопа в Якутский острог на реку Лену.

На Петров день, попрощавшись с добрыми людьми и не позабыв плюнуть в сторону хором доносчика Ивана Струны, отправился Аввакум в дорогу, навстречу великой сибирской зиме.

Порадовала Первопрестольная. Поминал протопоп братьев за здоровье, а они уж больше полугода в яму чумную кинуты, неведомо где, когда. Два брата померли со всем семейством.

Неистовства творят патриарх да пособник его царь – наказание же приемлют их овцы. Разинул дьявол огненную пасть, а Никон и спихнул туда глупеньких, поверивших его сану.

– Вот, Марковна! Вот! – повторял Аввакум засевшую в нем мысль. – Никон-то нас на погибель погнал в Сибирь, а вышло, что – на жизнь. Бог, Марковна, с нами! Верую, из нынешнего града, из Тобольска, извергает опять-таки на житие, прочь от Струны – напасти дьявольской.

– Что Бог ни делает – к лучшему, – согласилась Марковна. – Не к зверям, чай, везут. Якутский-то острог хоть и далеко, но построен не из-под кнута – по доброй воле.

Иван, старший сын, слушая родителей, осмелился спросить:

– Батюшка, неужто Москву и не увидим никогда?

– Москва – Никонов вертеп! Да избавит нас Бог от сей мерзости.

– Ох, смирись, протопоп! – покачала головой Марковна. – Смирись!

– Прости, матушка! Братьев жалко! Поддались Никону и погибли. Коли вся Россия подается кремешнику – и ей погибнуть, свету помутившемуся.

– Смирись, протопоп!

– Ох, Марковна, грешен! Силен бес! Силен окаянный.

Дощаник, тяжело напрягая парус, плыл против течения.

Реки сибирские велики, многоводны, а как их звать, то Бог ведает. Рек в Сибири, как людей в Москве, великие тыщи.

### 2

По рекам водою, по рекам и льдом. Лучшей дороги все равно не сыщешь.

С дощаника – на сани и снова неведомо куда.

Светлый, заново поставленный тын, темные обветшалые избы, темная, одиноко торчащая в пустом небе маковка деревянной церкви. Енисейский острог. До Якутского, может, и поближе, чем до Москвы, но дорога все равно длиннее: что ни верста – страх Божий: то зверь рычит, то разбойник свистит, а страшнее зверя и разбойника – сама дебрь.

К съезжей избе Аввакум подкатил не в добрый час. На крыльце и кругом лютый мордобой: и кровь, и стон, и такой мат, что самому небу уши заложило. Аввакум взялся рукою за крест, но Марковна остановила его:

– Погоди, Петрович! Убьют, имени не спрося.

– Марковна! – только и сказал; из саней вон, через грызущихся – на высокое место, с крестом над головою. Драка подзатихла, клубок тел распался на две своры ворчащих, хлюпающих разбитыми носами.

И тотчас опять напружинились, ощерились.

К съезжей избе, выступая, шел высокий, круглолицый, как кот, с невинными голубыми глазами, – видно, сам воевода. Нес он себя, как носят кувшин, налитый с верхом, и всякому было видно, чем налит сей кувшин – одною только властью. Упаси Боже толкнуть сей сосуд! Пролитые капли зашипят и запузырятся, как вода в огне.

Поднялся на крыльцо.

– Ишь, смелый поп!

Прошел мимо, в избу. Аввакум перекрестился и – следом.

В просторной палате с пищалями в руках сидели по лавкам стрельцы. За столом в богатой шубе – вроде бы тоже воевода, когда б не бегущие от встречного взгляда глаза – насмерть запуган.

Аввакум в замешательстве прикидывал, кто же тут главный: сидящий или только что вошедший.

– Пошто гостя не встречаешь? – спросил тот, что с незабудками во взоре. – Чай, поп! Редкий человек в нашей берлоге.

Сидевший вскочил было, но тотчас сел и, глядя в пол, сказал, вздыхаячи на каждом слове:

– За что, Афанасий Филиппыч, людей моих в кровь мордуешь?

– Впрок.

– Статочное ли дело людей впрок бить? Иных до смерти задели.

– А это чтоб живые не сумлевались. Ты про гостя-то опять позабыл!

– Я не гость, – сказал Аввакум, – не своей волей на Лену послан, в Якутский острог. Укажите, будьте милостивы, где стать, когда дале ехать?

– Знаю о тебе, – сказал человек с невинными глазами. – Ты – мой.

– Как – твой?

– Испужал? – засмеялся дружески, совсем не страшно. – Меня все тут боятся. Вон гляди – сами с ружьями сидят, а под каждым лужа... Мой ты, протопоп Аввакум! Зря Никону-патриарху досаждал. Ох, зря! Со мной пойдешь.

Аввакум шагнул к столу:

– Да кто ж тут воевода? Куда это мне идти, с кем?

– С Афанасием Филиппычем! – Сидящий за столом в шубу свою чуть не с головою ушел. – Я приехал на смену Афанасию Филиппычу и на тебя, Аввакум, указ привез.

– В Дауры, протопоп, пойдем!<sup>28</sup> – сказал голубоглазый. – Не хуже, чай, Якутска.

– Да когда ж?

– Зима минет, реки вскроются... Покуда живи в свое удовольствие. – Пошел к двери, но остановился. – Через протопопа забыл, зачем пришел. А пришел я сказать, чтоб твои люди, воевода, как мои на улицу-то выйдут, – тотчас бы по домам хоронились. Чтоб будто и духу вашего тут нет! Вот уйду с протопопом в Дауры, тогда и властвуйте.

Ушел, дверью не хлопнув, спокойно, улыбнувшись.

– Кто же это? – спросил Аввакум в крайнем изумлении.

– Пашков, – ответили ему. – Афанасий Филиппыч Пашков.

Воеводой в Енисейске был теперь стольник Иван Павлович Акинфов. Сидел он на своем воеводстве затаив дыхание, ибо прежний воевода Пашков оставался в городе. Не потому был силен Афанасий Филиппыч, что правил Енисейском пять лет, и не потому, что собирал в поход

---

<sup>28</sup> В Дауры, протопоп, пойдем! – Даурия, Даурская земля – до XVII в. название Забайкалья и Западного Приамурья.

на Дауры полк и людей у него было не сотня, как у воеводы, а пять сотен. Норов был силою Афанасия Филиппыча. Сомнений не ведал, ни в чем себя и никогда не покори́л, ни в каком зле не раскаялся, добро впереди воли и службы не пускал. Коли делалось доброе, так и ладно, да на службе его место не первое, добро оно обхаживает да поглаживает. Службе же всегда недосуг: коли на дороге лес – лес руби, коли изба – вали избу.

Земля кругом на тысячи верст – звериное царство: лес, горы, болота. Люди ликом хуже идолов, живут – как трава растет. Богов из чурок стругают. И потому Афанасий Филиппыч почитал себя для всех этих чужеродных людишек самым Господом. Вслух про то не говорил, но про себя знал, кто он есть и для них, неумытых, да и для своих, тоже ведь дикари дикарями.

Однако и у бури есть дом родной, где она, мрак и погибель, дите желанное и жалеемое.

Перед супругою Феклой Симеоновной Афанасий Филиппыч тишал, ища себе нежности и голубино́го покоя. Фекла Симеоновна любила поискать вошек в голове Афанасия Филиппыча, а он, сидя перед нею на низкой скамеечке, расшивал серебряными и золотыми нитями доброй величины пелену, пообещав ее Богу в час редкого для себя угрызения совести и раскаянья. Женская сия работа, кропотливее которой и придумать нельзя, была ему не казнью, а потаенной жемчужной радостью.

Впрочем, Афанасий Филиппыч мог тотчас отложить иглу и пойти глядеть, как отсыплют бато́гов дюжие его работнички.

Новому воеводе Пашков дыхнуть не давал. Отбирал для своего похода оружие, припасы, вновь прибывших людей, перехватывал почту, опасаясь на себя доноса.

Предстояло дело нешуточное: идти на реку Амур в Дауры, ставить не токмо крепости, но саму государеву власть.

Афанасий Филиппыч никогда еще на царской службе не сплошал и теперь, получив во власть удел, у которого край там, где край самой земли, опростоволоситься не собирался.

Для устройства правильной русской жизни без попов обойтись было нельзя, но как раз попов-то Афанасий Филиппыч милостью не жаловал. Попы слишком много знают: обиженные к попам льнут, как тели к коровам. И обидчики тоже у них исповедуются. Одним словом, поп для покорителя просторов и народов – помеха. Обойтись же без такой помехи – нельзя. Язычников крестить нужно.

Протопоп Аввакум Пашкову с первого погляда пришелся по душе. Ростом. Для дальнего похода люди нужны здоровее здоровых. И вид чтобы тоже был – иноверцам на страх.

### 3

Пошла Марковна на базар, да воротилась ни с чем, с замерзшими слезинками на ресницах и щеках.

– Кто тебя обидел?! – вскричал протопоп, хватаясь за шубу.

Она на него рукам замахала:

– Сиди! Сиди! Никто меня пальцем не тронул.

А сама под иконку, на колени. Потом уж только протопопу своему головку на грудь положила.

– Звери люди! Звери!

Возле богатого дома – чей дом, Марковна не спрашивала – в собачьей будке, на цепи – человек сидит. Рассказывает Марковна о виданном, а сама Аввакума обеими руками держит.

– Не спеши вызволять горемыку! Узнай, что да почему. Сказать тебе – за тебя же и боялась, но ведь и не сказать нельзя!

Аввакум перекрестился, выпил святой водицы из ложечки серебряной, крест в правую руку, топор в левую и – вон из избы.

Люди, идучи, на протопоба оборачиваются – что за притча: крест и топор. Куда это? Аввакум же, подойдя к богатому дому, где в собачьей конуре сидел человек, осенил крестом взлявшего на него двуногого кобеля и разгромил топором будку. Человек-пес цапнул протопоба за рукав, но протопоб не смутился, выбил цепь из колоды и пошел себе обратно. Человек-пес зубищи не разжимает, но на четвереньках ему неудобно, ногами пошел. Людей же на улице, глядевших на все это хождение, столбнякомхватило.

В избе Аввакум сказал мужику:

– Отпусти руку! Никакой ты не пес, а человек, подобие Божье.

Тот вдруг задрожал, охнул, да и хлоп на пол без памяти.

Затаился меж тем городок Енисейск, ибо богатый дом был домом Пашкова и во пса человека превратили велением Афанасия Филиппыча. Бесноватый человек кинулся на бывшего воеводу с собачьим лаем и прокусил ему сапог. Казаки воеводу отбили у бешеного, а тот, корчимый звериной яростью, напал тотчас на воеводскую собаку и порвал, как волк. Пашков прибить бесноватого не пожелал, пожелал посадить на цепь вместо погибшего своего кобеля.

Никакой новости, однако ж, енисейские жители не дождались. Первой поведала о происшествии Афанасию Филиппычу сама Фекла Симеоновна.

– Избавил нас Бог от креста нашего! – говорила она, просветленная радостью, – Я, Афанасьюшко, протопобу с протопобицей пирогов отравила да зерна мешок.

И поднесла Афанасию Филиппычу ковш крепкого, на хрену, квасу. Афанасий Филиппыч был с похмелья и возразить жене не посмел, ибо после похмелья он не только рукой-ногой, но и мозгами боялся пошевелить. Страданий ему хватало на двое суток, и был он тогда кроток и тих, как новорожденное дитя.

Пашков еще после хмеля на ноги не встал, а бесноватый мужик уж катил с воеводским гонцом в Тобольск. Аввакум ударил челом о несчастном самому Акинфому, тот от греха и отослал бесноватого подальше от Енисейска.

Печалилась, долго печалилась Анастасия Марковна: а ну как Пашков злопамятен? Но время шло, никто о погромленной собачьей конуре не поминал, и в хлопотах милосердное дело забылось. Таяла зима, воды подтачивали льды на реках, истекали оседлые дни Аввакумова жития в Енисейском остроге.

#### 4

Серебряный лебедь – братина в сажень! – сиял посреди стола, как зимний белый свет. Все-то перышки на месте, с завиточками, в глазах янтари, в клюве кувшинка – чистого золота, а кругом лебеда детки-чарочки, такие же лебеди, с перышками, с янтарями, с кувшинками, счетом две дюжины.

– Утешение! Утешение! – сиял не хуже лебеда боярин Василий Васильевич Бутурлин. – Вот окуп так окуп!

– Одного весу – три пуда три фунта с золотниками, – поддакнул Втор Каверза, служивший ныне подьячим при боярине. – И еще три сундука в придачу.

– Открывай, не томи! – Василий Васильевич подождал, пока подьячий поставит стул возле сундуков, сел, почесывая ноготками левую ладонь. – Чешется.

– К прибыли!

– Ты показывай, показывай, а то ведь прибегут к гетману звать.

В одном сундуке были богатые кунтуши, в другом – платья, в третьем – всякое: три сабли в дорогих ножнах, четыре книги в серебряных окладах, часы, зеркало, шкатулка с серебряными крестами. Бронзовый, изображающий охоту на льва чернильный прибор.

– Все опиши на имя государя, – строго сказал Василий Васильевич и призадумался. – Лебеда не пиши. Собираюсь вклады сделать в московские храмы... Лебеда не пиши! Себе возьми из сундуков на выбор.

– Я ведь книгочей! – поклонился боярину Втор, прикидывая на глаз, какой оклад увесистее.

– Вот и забирай все книги! – раздобрился Бутурлин. – Нет! Три бери, а к лебедю приложи чернильницу. Уж больно затейлива. Я ее сам государю подарю.

– Крестиков серебряных – тринадцать. Число смутительное, а у меня племянница есть...

– Василий Васильевич! – кликнули из приемной. – На съезд, к гетману.

– Иду! – отозвался боярин и пальцем погрозил Втору Каверзе: – Лебеда рухлядью обложи, чтоб не помяли. Крестик возьми, а сам не больно воруй! Я ведь тебя не обижаю. Какой город-то сей окуп дал?

– Неведомо.

– Как неведомо?!

– Брянский полк подошел к какому-то городишке, а у тех уж окуп наготове. Сундуки в казну, ратникам по талеру. Ушли, имени не спрашивая.

– Просты, просты русские люди! – покачал головою Василий Васильевич. – Я вот – боярин, совсем большой человек, а чую, что у Хмельницкого перед его старшинами – прост.

– Так ведь и Хмельницкий прост.

– Хмельницкий – это Хмельницкий. – Василий Васильевич сокрушенно вздохнул. – До чего же неохота на съезд ехать, к Богдановым умникам.

Хуже пытки почитал для себя воевода Бутурлин съезды с польскими комиссарами. Все эти паны Кушевичи, Сахновичи, Лавришевичи чувствовали себя на стану Хмельницкого как дома. Подарунки, усмешки, по плечам хлопанье – свои люди! Один он, Василий Васильевич, наместник царя всея Руси – чужой и круглый дурак. Ведь от кого «дурака» получил! От Паши Тетери, а Паша<sup>29</sup> – не разлей вода с Ваней Выговским<sup>30</sup>, генеральным писарем!

– У-у-у! – Боярин аж рывкнул по-медвежьи в бороду, вспоминая вчерашнее.

Перед вчерашним съездом он был у Хмельницкого, с глазу на глаз, корил гетмана за малое радение государю, и Хмельницкий на съезде с комиссарами был строг, обещал пойти на город великим приступом. Пусть паны на себя пеняют, коли храмы рухнут, а дома погорят. Кушевича Богдановы слова пробрали до сердца – заплакал, руки заломил, и тут Тетеря, Паша, пролаял ему что-то на мерзостной латыни. Всего-то три-четыре слова, и у комиссаров опять улыбки, пересмешки...

Василий Васильевич подсылал своего человека к человеку Выговского, чтобы тот перевел латинские Тетерины слова. Платил золотом. Золотом – за то, что отсобачили перед всей матушкой-Европой: московский-де боярин медведь, невежда и круглый дурак.

Огорчился Василий Васильевич! Но он огорчился бы много больше, если бы получил правдивый перевод Тетериного: «Ситис константес эт генероси» – будьте тверды и мужественны.

Люди Выговского не впервой помогали польским комиссарам, и не потому, что генеральный писарь золото любит. Секретами Иван торговал изрядно – был бы покупатель! Москве – крымские, крымцам – московские, семиградцам – молдавские, молдаванам – семиградские. С

<sup>29</sup> От Паши Тетери, а Паша – не разлей вода с Ваней Выговским... – Тетеря (Моржовский, Мережковский) Павел Иванович (? – ок. 1670) – гетман Правобережной Украины в 1663–1665 гг. Был близок к Богдану Хмельницкому, впоследствии стал его зятем. Во времена гетманства И. Выговского был генеральным писарем. Враждебно относился к воссоединению Украины с Россией и старался вернуть ее под власть Польши.

<sup>30</sup> Выговский Иван Евстафьевич (?–1664) – гетман Украины в 1657–1659 гг. (после смерти Б. Хмельницкого). Проводимая им политика привела к народному восстанию в 1657–1658 гг. Вопреки воле украинского народа подписал Гадячский договор 1658 г., по которому Украина опять попала под власть панской Польши. В 1659 г. был низложен и бежал в Польшу, где в награду получил должность киевского воеводы. В результате происков П. Тетери был казнен.

польскими тайнами тоже не церемонился, хотя к шляхетскому дому прилежал сердцем. Дом шляхты – Речь Посполитая. Иного такого дома, где шляхтичу воля и достоинство, на всем белом свете нет и уж больше не будет. Не желали «Тетери Выговские» погибели Речи Посполитой.

Боярин остановил коня, с безнадежной тоскою глядел на стены львовской твердыни. Уж такая ли это твердыня? Такой ли разэтакий молодец генерал Криштоф Гродзицкий?! Верно, пушкарь он отменный, но не ради его пушек город стоит себе на виду казачьего и русского войска и наверняка теперь устоит!

– Кто это сломя голову к нам спешит? – Боярин показал охране на резво скакавших всадников. – Молодые, да слепые! Сам вижу – Артамон Матвеев!

– Боярин! Батюшко! Василий Васильевич! – Матвеев был от скачки лицом красен, в движениях суета. – Что же ты сегодня так припозднился?! Гони, Бога ради, к гетману!

– Да что стряслось-то?

– Об откупной уже договорились. Гетман совсем малые деньги с города берет. Назавтра обещает восвояси со всем казачьим войском отойти.

– Уж назавтра?

– Назавтра!

– А у меня чечуй разошелся. Еле в возке сижу. Поворачивайте! К себе поедem! Мочи никакой нет.

– Боярин! Василий Васильевич! От государя нам великое неудовольствие будет, если Львов не возьмем на его государево пресветлое имя.

– Бог не дал! Бог! Поехали! Не то как бы я не помер! – Василий Васильевич плюхнулся в свой витиеватый польский возок, и все его посольство поспешно стало заворачивать лошадей.

– Ишь тарацишься на старого человека! – крикнул вдруг Бутурлин Матвееву. – Много меня Хмельницкий послушает. У него вон сколько войска – стог, а у нас – копейка... Скажи к Ромодановскому, коли прыток, пусть гонцов шлет войско скликать в обратный путь. Разбредись кто куда.

Отряды в поисках продовольствия и впрямь рассеялись по разоренной войной стране. Оставить отряды – нельзя, ждать долго – страшно.

Василию Васильевичу и впрямь захотелось заболеть.

## 5

Поход начался весной. 3 мая из Севска на Украину двинулась русская армия под командованием Василия Васильевича Бутурлина и Григория Григорьевича Ромодановского. Собрали армию – с бору по сосенке. Два полка отдал Трубецкой, воевавший в Белоруссии, пришли полки – рейтарский из Брянска, дворянский из Мценска, стрелецкий из Москвы. Численность полков была разная: в стрелецких – по пятисот ратников, в дворянских – по четыреста, иноземного строя – по семисот.

Под Белой Церковью, куда армия пришла в конце июня, произошло соединение с остатками корпуса Шереметева, выстоявшего зимой в жесточайшей Дрожипольской битве, и с четырехтысячным отрядом киевского воеводы стольника Андрея Васильевича Бутурлина.

Всего в русской армии набралось тысяч пятнадцать, зато пушек было много, и, как всегда, превосходных. Гетман Хмельницкий тоже пришел под Белую Церковь, и уже 1 июля объединенные силы двинулись на Каменец, легко забирая такие могучие города, как Брацлав, Бар, Межибок...

Взять Каменец – зело потешить свою ратную гордыню! Но и на этот раз крепость не уронила славы неберущейся. Хмельницкому с Бутурлиным недосуг стало до Каменца.

На территорию Речи Посполитой двумя сокрушительными колоннами вторглись войска шведского короля Карла X Густава.

Фельдмаршал Виттенберг рассеял отряды воеводы Опалинского и без боя занял Познань и Калиш. Оба воеводства, поторговавшись о шляхетских свободах, поспешили признать над собою протекторат шведской короны. Счастливый легкостью предприятия, в Речь Посполитую тотчас явился сам Карл Густав и опять-таки без боя взял Варшаву.

А к Варшаве с востока стремились русские полки – опоздали! Король польский Ян Казимир, не зная толком, какие города, какие войска ему еще верны, тщился сохранить за собою Краков. Отчаянными приказами вызвал с Украины польного гетмана Лянцкоронского и Стефана Чарнецкого. Украина осталась незащищенной, но и польских земель отстоять не удалось. Шведы побили Лянцкоронского, и король, дабы избежать плена, покинул пределы Речи Посполитой, укрывшись в Силезии, в городе Глогове. Мужество Чарнецкого лишь ненадолго продлило противостояние Кракова захватчикам. Город пришлось сдать, и Карл Густав тотчас обратил свои взоры на Львов. Потому-то и поторопились к лакомому пирогу казачьих и русские полки.

Вторая колонна шведских войск под командованием Габриеля де ла Гарди через Лифляндию вторглась в пределы Великого княжества Литовского. Великий гетман Януш Радзивилл, потерпевший несколько поражений от московских воевод, имел не более пяти тысяч войска. Де ла Гарди предложил ему протекцию шведского короля.

18 августа в Кейданах братья Радзивиллы, Януш и Богуслав, польный гетман Гонсевский, епископ жмудский Парчевский подписали документ о вступлении Великого княжества Литовского в подданство шведского короля.

То, что кажется разумным князьям, не понимает народ. Народ посчитал Януша Радзивилла изменником. Нашелся предводитель – витебский воевода Павел Сапега. Сапега вызвался представить великого гетмана литовского на суд Речи Посполитой и осадил резиденцию гетмана, Тыкочинский замок. Замок был взят с бою, но Януша Радзивилла нашли мертвым – то ли совесть замучила насмерть, то ли иные болезни.

Чем скорее разваливалась на части Речь Посполитая, тем спокойнее становилось под стенами Львова. Хмельницкого одолевали сомнения. В ставку прибыли послы Яна Казимира и Карла Густава, каждый тянул на свою сторону.

Гетману было отчего призадуматься. Русский царь Алексей Михайлович, взяв Вильну, ретиво возжелал польской коруны. Советники подталкивали царя к миру с Польшей, а это означало, что Украина для мудрых политиканов превращалась в разменную монету...

Пытались воздействовать на гетмана и тайным обычаем. Королева Мария Гонзаго, был слух, из своего силезского укрытия прислала жене Хмельницкого необычайно дорогой перстень с алмазом. Королеву можно понять: Львов оставался чуть ли не единственным городом, где королем признавали Яна Казимира.

Были и у самого Хмельницкого личные симпатии к городу его молодости. Но что все это за причины перед зимними холодами и голодом, грозившими войску? Продовольствия в разоренной стране не только купить – отнять было не у кого.

В письмах к Радзиевскому Хмельницкий именно этой причиной объясняет свое поспешное отступление из-под Львова.

Можно выстроить долгий ряд вполне объективных причин, по которым гетман Войска Запорожского и во вторую осаду Львова действовал словно бы нехотя. Тут и двойная игра казачьей старшины<sup>31</sup>, которая рассматривала Переяславскую раду как временную, вынужден-

---

<sup>31</sup> ...Тут и двойная игра казачьей старшины, которая рассматривала Переяславскую раду как временную, вынужденную меру. – Переяславская рада – собрание представителей украинского народа, созданное в Переяславе в 1654 г. гетманом Богданом Хмельницким и принявшее решение о воссоединении Левобережной Украины с Россией.

ную меру. Выговский и его окружение ждали своего часа. Тут и козырная крымская карта. На бахчисарайском престоле после скоропостижной кончины хана Ислама Гирея вновь восседал Магомет Гирей. Междоусобица длилась с полгода. Из тех, кто цеплялся за бахчисарайский трон, были сторонники Москвы и Хмельницкого. Эти рассчитывали на легкое обогащение за счет вконец ослабевшей Польши. Но ханской саблей был опоясан человек, удобный во всех отношениях. Удобный Стамбулу и крымскому визирю Сефирь Газы.

Магомет Гирей почитал себя наследником славы и могущества Золотой Орды. Дружественные союзы с соседними государствами истолковывал по золотоордынским меркам, как вассальную зависимость. Прирученный волк тоже ведь почитает себя за хозяина человека.

Не блажь и не гордыня высоко хватающего хана беспокоили Хмельницкого. Сефирь Газы был страшен. Этот понимает, что воссоединение Украины с Россией для ханства, живущего набегами, смерти подобно. Летом запорожцы сложились с донскими казаками и разорили побережье, сожгли Судак, Алушту, пограбили Керчь и Каффу. Сефирь Газы готов сделать все возможное, лишь бы оторвать Украину от Московского царства. Значит, надо ожидать таких набегов, каких испокон веку не бывало. Опустошат, обезлюдят землю.

Вот почему Хмельницкий отправил послов в Стамбул. В грамоте падишаху Магомету IV гетман объяснял подданство Москве как вынужденное: хан соединился с Речью Посполитой и без конца воюет украинские земли. Упрашивая принять Украину под султанскую руку, гетман надеялся на защиту от крымского хана. Дипломатия только отсрочила начало похода. Хан поступил так, как желал того Сефирь Газы.

30 августа 1655 года татарское войско вышло из крымских пределов в степь. Но только в самом конце октября оно достигло Збаража. Хан медлил, ожидая вестей от Яна Казимира через своего посла, отправленного в Польшу еще в июне. Но не только послов – самого войска польского невозможно было обнаружить.

Нуреддин Адиль Гирей с пятидесятитысячной конной армией явился в пределы Белоцерковского полка и потом ринулся к Каменцу, оставляя за собой сожженные селения и обезлюдевшую землю. Татары и с союзниками обошлись дурно. Высланный из Каменца для торжественной встречи отряд был частью вырублен, частью пленен.

И все-таки хан, зная, что остается с Хмельницким один на один, решил на сближение.

## 6

Василий Васильевич читал Псалтирь на сон грядущий, когда к нему срочно, спешно, прямо с коня, сапожищами по коврам, явился от гетмана сотник Ментовский.

– Чего стряслось-то?! – крикнул ему боярин, ужасно разобидевшись на весь белый свет. – Ведь уж по одному, как в дом лезете, вижу – стряслось!

– Стряслось, ясновельможный боярин! – согласился Ментовский. – Я сам с казаками проводывал, далеко ли татары, да с ихним разъездом встретился, с сыном Каммамбет-мурзы. Мы с ним вместе в Молдавию ходили. Так он мне сказал, что твой внук и его люди – капитан Колычев, ротмистр Чихачев, сокольничий Григорьев и Ярыжкин – в плену у хана.

– Батюшки ты мои! Батюшки! – всполошился Василий Васильевич. – В плену?!

– В плену.

– А хоть живы?

– Коли в плену, должно быть, живы. За живого выкуп больше.

– Водки дайте сотнику! – топнул ногою на слуг боярин. – Стоят, бездельники!

И сам тоже встал посреди комнаты, никак не соображая, что же ему надо делать. Принесли чару. Ментовский выпил, отер усы.

– Гетман одному тебе, боярин, еще наказывал слово говорить.

Василий Васильевич махнул рукою на слуг:

– Не томи! Уж хуже некуда.

– Утром Войско Запорожское идет на хана.

– Уже?!

– Оставаться под стенами далее невозможно, хан ударит в спину.

– Это я и сам знаю, кто куда ударит. По жопе меня ударит! По жопе! И не хан-дурак, а пресветлый наш государь, справедливое сердце, ангельская душа! Простояли, прозевали! Програчили! Ну, да что причитать?! Ступай, сотник! Кланяюсь гетману! Вот так вот кланяюсь.

Махнул головой, как лошадь гривой машет.

Оставшись один, треснул себя кулаком по башке. Не жалеючи.

– Все ведь ты знал! Все! Городишки зато брались больно хорошо. Вон сколько насобирали, аж сам Люблин в копилке был. Был, да теперь сплывет. Внук в плену, гетман уходит. Этак и сам в плен попадешь. Господи! Чем я тебя прогневил? Не нашлось в Москве помоложе человека!

И перед самым собою лукавил боярин. Служить царскую службу и для себя счастье, и для всего рода. Князю Потемкину да Даниле Выговскому Люблин ворота открыл, а письмо царю о победах повез молодой Бутурлин. На большую награду роток боярин разинул. Люблин не только присягнул государю, но и расстался с великой святыней – частицей Честного Креста Иисусова. Сокровище Василий Васильевич оставил при себе, зная наперед, что с таким даром Москва встретит его колоколами.

– Ах, напасть! Ах, напасть! – Боярин, сокрушаясь о пленении внука, плакал и, сокрушенный своими же слезами, прикладывался к святыне. Ему, Ваське недостойному, послал Бог добыть для России благодатное Древо. Частица величиною с палец, но ведь это была частица того самого Креста, на котором Иисус принял муки ради спасения рода человеческого.

Уж совсем дурные мысли приходили в голову Василию Васильевичу. Негожие. Царская милость сладка и узорчата, но ныне сам Господь его жалует. Может, пленение внука – козни иного врага, того, что и самому Господу враг?

Не рад был Василий Васильевич такому умничанью, но куда от себя денешься?

Казаки ушли. Ушел бы и Бутурлин, да не все еще отряды вернулись. И Бог с ними, с отрядами, но затяжной дождь вконец погубил дороги. Пушек много, тюфяк на тюфяке, а лошади кормлены плохо, не тянут. Менять почаще, так и лошадей лишних тоже нет. Добро польское отменное, не кидать же его ради пушек!

21 октября ушел из-под Львова и Бутурлин. Слухи о татарах неуютные – с ханом сто тысяч, а где эти сто тысяч, непонятно: татарские отряды рыщут по краю, как волки. Вozов множество, а на вoзы татары слетаются что мухи на мед. И ведь не отобьешься от ста тысяч-то! Пушки по горло в грязи, хоть бросай.

Страх был так велик, что Василий Васильевич повздыхал-повздыхал, да и бросил пушки. Самим бы уцелеть!

Освободившись от обузы, русское войско прибавило ходу и 8 ноября у Заложниц соединилось с казаками. В Заложницах Бутурлин узнал новость. От Сефирь Газы у Хмельницкого был человек, который говорил гетману: «Хан пришел не с казаками воевать, но с Москвой. Вы, казаки, за вольность воюете, а получите от московского царя холопство. Опомнитесь, пока не поздно. Поверните оружие на москалей».

О разговоре с посланцем Сефирь Газы гетман сам рассказал боярину, отослал же татарина от себя тотчас, потому что понимал: не ради переговоров был посланец, а ради погляду – велика ли казачья сила.

## 7

Презанятно получалось. Оба войска, казачье и татарское, искали друг друга, имея намерения самые решительные. Разведка Хмельницкого установила: татары стремятся на юг, к Тернополю. Хмельницкий спешил перехватить хана, слишком большой полон уводили татары. Но хан не собирался бежать от казачьего войска. Он искал с ним встречи, вполне полагаясь на свое стотысячное войско.

Осеннее ненастье переполнило реки, очередную переправу гетман решил сделать возле Озерной. Русские припоздали, а потому отложили переправу до следующего утра.

– Сам Аллах разделит украинцев и русских! – воскликнул Магомет Гирей и послал своих мурз ударить разом и на Хмельницкого и на Бутурлина...

Слава, слава Артамону Матвееву! Сей муж на войне не о возах награбленного пекся, но о чести. Хоть и не все, но большую часть брошенных Бутурлиным пушек он подобрал и привез к Озерной.

Русские полки были атакованы ногайскими мурзами<sup>32</sup>. Не все татарские отряды успели подойти к месту боя. Пушки строго поговорили с конницей, и переправа прошла без больших потерь.

Сомкнув везы в единый табор, казацко-русское войско приготовилось к осаде.

– Учись у казаков! – наставлял Василий Васильевич Матвеева. – Молодцы и мудрецы! Степь, человек гол со всех сторон, а они и телегу в крепость превратили.

Взгромоздившись верхом на такого же грузного, как и седок, коня, Бутурлин поехал вдоль табора подбадривать ратников:

– Ребята, бабахните, как пойдут, разом! Пусть знают, какова русская гроза! – И никакого смущения, даже не покосился на Артамона, спасшего русскую грозу.

Не всякая молния человека бьет. А татар распаляла добыча, взятая казаками и русскими с польских городов. И гнев распалял: не желают казаки жить по-прежнему. С Москвой обнялись. Да не бывать этому!

Хан послал на русских Адиль Гирея. Карусель закрутилась такая, что ни зги: от стрел, пуль, натиска. Да все ж конь – живое существо, татарин – тоже не черт. Нахлебались своей же крови, отхлынули.

## 8

В шатре Бутурлина стояли иконы, горели лампы.

Лекарь из немцев хлопотал над растелешенным боярином. Бой шел с утра до ночи, а убитых, слава Богу, нет. Раненых – сотня, в число этой сотни угодил и сам Василий Васильевич. Стрела разорвала правый бок, внутренностей не повредив. Однако и кровь была, и боль, и озноб. Лекарь ладно все устроил, боярин даже пораздовался, что сражен: государь за Львов посерчает, а за рану пожалеет. В полночь к Бутурлину, разругав охрану и доктора, вставших на пути, явился Артамон Матвеев.

– Василий Васильевич, у Хмельницкого с татарами тайный совет. Хан просит гетмана оставить нас ему на потеху. Златые горы сулит. Требуется, чтоб султану турецкому служил, коли под султанскую руку доброй волей пошел.

---

<sup>32</sup> ...были атакованы ногайскими мурзами. – Ногаи, позднее ногайцы, – кочевники; государство Ногайская Орда выделилось из Золотой Орды в конце XIV – нач. XV в. Располагалось к северу от Каспийского и Аральского морей, от Волги до Иртыша. Мурза – татарский князек, наследственный старшина.

– Для меня то не новость, что Хмельницкий под рукой султана. Экая тайна! Не трепещись, Артамон! Не затем Хмельницкий искал милости нашего царя, чтоб первому встречному хану отдать русские головы на закланье. Я Хмельницкому как самому себе верю. Ради государских дел можно и так говорить, и этак, но Хмельницкий крест в Переяславле не ради угодий и титулов целовал – ради братства. Русские да украинцы – два брата одной земли, а белорусы – третий наш брат. Троица же, сам знаешь, свята и непобедима. Тут не наш с тобой, тут Божий Промысел. Поди, Артамон, посты проверь, татары с утра опять пойдут, а то и ночью. Поди, Артамон, дай мне поболеть спокойно.

Наутро и впрямь ударили, и только на русских. Впрочем, на прорыв не надеясь и головы зазря не подставляя.

Вскоре хан приказал своим войскам отступить от казачьего да русского лагеря на десять верст, чтоб самому не попасть под внезапный удар.

Ночью у Хмельницкого снова были тайные гости. Пожаловал сам Сефирь Газы с мурзами, тут были и ногайцы, и родственники Тугай-бея – Богданова друга. Но гетман переговоры вести не стал, почитая себя ровней не визирю, а хану. Говорил с Сефирь Газы войсковой судья Самойло Богданов.

Сефирь Газы сразу взял круто, словно казаки были его подданными:

– Ни ушам своим, ни глазам – не верю! Казаки, всегда верные слову, сломали присягу великому хану и переметнулись под руку московского царя. Понимаю: от голода спасались, был нужен московский хлеб. Но не слишком ли дорогой ценой? Киев – за кусок хлеба, а к нему в придачу города и земли, по праву принадлежащие королю Яну Казимиру.

Судья Самойло ответ дал твердый, в словах не запинаясь:

– Войско Запорожское, гетман и вся старшина рады быть с ханом в прежней дружбе. От казацкой дружбы хану польза немалая. О подданстве же Войска Запорожского русскому царю говорить не пристало, то дело совершенно прочно и навеки. Киев и прочие иные города царю отданы потому, что это его царского величества древняя вотчина.

– Сам знаешь, что это все пустые слова! – сказал Сефирь Газы. – Отступитесь от Москвы, пока не поздно. Будете в дружбе с ханом – и воля ваша не потускнеет, как не тускнеет золото. Держитесь за хана – и будете всегда богаты. Московских да варшавских сундуков и хану хватит, и казакам. Отступитесь от московских воевод – весь полон вернем, а людей ваших за вашу измену мы забрали много.

– Войско Запорожское и гетман не дадут хану увести пленных, – ответил Самойло. – Их следует разменять.

– Будь по-вашему! – согласился вдруг Сефирь Газы. – Но одну малость по старой дружбе вы нам окажите. Хан и малое может оценить как большое. Идите с русскими отдельно. У вас свои возы, у них свои. Вы идете скорее, они медленнее. С помощью чуть припоздать – и будете хороши и для московского царя, и для нашего.

– Русское и казацкое ныне одно войско, идти нам, стало быть, вместе, – возразил Самойло.

– Оставим пока это, – улыбнулся Сефирь Газы. – Говорить можно одно, а делать иное. Пусть старшина подумает... Хан предлагает гетману идти с ним к королю Яну Казимиру, изгнать из пределов Польши короля Карла. Король обещает великую награду казакам.

– Свои награды мы сами добываем, – ответил войсковой судья визирю, – и королю мы готовы помочь, если царское величество Алексей Михайлович пожалует короля, велит гетману отвоевать престол для его величества Яна Казимира.

Не знал Сефирь Газы, что гетман лелеял иные великие планы. Посылая к шведскому королю своего надежного человека, предлагал Швеции, России, Войску Запорожскому, Мол-

давии, Валахии, Семиградскому княжеству сложиться всеми силами, ударить на османов<sup>33</sup> и вернуть волю всем христианским народам. О том и царю Алексею Михайловичу писал, передавая просьбу Молдавии, желающей обрести покой в лоне Московского государства.

12 ноября хан Магомет Гирей и гетман Богдан Хмельницкий дали друг другу шерть<sup>34</sup>: хан брал обязательство на города и земли московского царя и Войска Запорожского войной не ходить, польскому королю в войне против московского царя не помогать, казаков и русских ратных, попавших в плен, разменять на пленных татар.

В знак доброго расположения хан вернул без выкупа троих русских: внука боярина Бутурлина, капитана Колычева и царского сокольника Ярыжкина.

Войска разошлись с миром.

## 9

Изразцовая печь с лежанкой была аккуратная до противности. Изразцы белей снега, с изумрудными травами. Нарядно, да не по-русски. И душе скучно, и телу неудобство. На кирпичках лежишь – кирпичами пахнет, хлебом, овчиной. Мало ли чего в пазы набьется. Само тепло от изразцов другое. Изразец жжет, как аспид, а кирпич, все равно что Кот Баюн, дремой томит, по косточкам, как по гуслям, похаживает.

Стефан Вонифатьевич<sup>35</sup> углядел в глазах Неронова и тучу и тугу, кисельку принес клюквенного.

– Что, Иван?

– Да что?!

С месяц жил Неронов у Стефана Вонифатьевича в Чудовом монастыре. Никон беглеца по всей России сыскивает, а ретивый ослушник в том же дворе, на одни с патриархом кресты лоб крестит.

Первую неделю Неронов весьма забавлялся своим торжеством, а потом остыл, умолк, постарел.

– Что, Иван? – снова спросил Стефан Вонифатьевич.

– Было зерно, да все смололи.

– Не пойму, – тихо улыбнулся Стефан Вонифатьевич. – Я уж совсем одрях.

– Да вот, говорю, жили-жили и теперь живем, а жизни-то и нет!

– Жизни нет, – закивал бороною царев духовник. – Меньше жизни – ближе к Богу.

– А Никон красуется!

– Пробьют и его часы.

– Пробьют! Но скажи ты мне, Богу ли, Богу возносит матушка-Русь свои молитвы? Не зверю ли?

Стефан Вонифатьевич испуганно взмахнул совсем уж растаявшей, совсем воздушной рукою. А Неронова, хоть и был в расслаблении духа, уж не остановить, лоб нагнул, как бы и

---

<sup>33</sup> ...ударить на османов... – Османской империей в XV–XVII вв. называлась султанская Турция. Османская империя сложилась в XV–XVI вв. в результате турецких завоеваний в Азии, Европе и Африке. В период наибольшего своего расширения во 2-й пол. XVI – сер. 70-х гг. XVII в., кроме собственно Турции, она включала значительные территории на севере Африки, Месопотамию и др. Распалась после поражения в Первой мировой войне.

<sup>34</sup> Шерть – клятва.

<sup>35</sup> Стефан Вонифатьевич (?–1656) – протопоп московского Благовещенского собора, духовник царя Алексея Михайловича. Стоял во главе реформаторского «кружка ревнителей благочестия», куда входили Иван Неронов, Аввакум, Даниил, Лазарь, из группы столичных ревнителей царь Алексей Михайлович, Ф.М. Ртищев, Б.И. Морозов и др. Кстати, этот же кружок доставил Никону патриаршество. Кружок Вонифатьева имел исключительное влияние на состояние тогдашних церковных дел. Вонифатьеву до некоторой степени удавалось сглаживать трения между бывшими друзьями-ревнителями: Аввакумом с его сторонниками – и Никоном. Желая преодолеть упрямство Неронова, он убедил его принять монашество и сам постригся в монахи под именем Савватия.

стена ему не стена. Открыл на столе книгу, читал с неистовством, полный гнева, крови, любви и ненависти:

– «И взял Ахия новую одежду, которая была на нем, и разодрал ее на двенадцать частей, и сказал Иеровоаму: возьми себе десять частей, ибо так говорит Яхве, Бог израилев: вот, я исторгаю царство из руки Соломоновой и даю тебе десять колен!..» – Стефан Вонифатьевич заплакал, но Неронов не унялся: – Ты слушай, слушай, старче! «Это за то, что они оставили меня и стали поклоняться Астарте, божеству сидонскому, и Хамосу, богу моавитскому, и Милхому, богу аммонитскому...» И с нами то же будет! Сами себя своим безверием раздерем на двенадцать частей.

– Уймись! – Стефан Вонифатьевич съехал с лавки и стал на колени. – Душа тишины молит.

Неронов смутился вдруг. Поднял Стефана Вонифатьевича на руки, положил на постель, ноги старцу обнял.

– Ох, Стефана! Отчего не ты – пастырем, овца святорусская, свечка светящая и греющая? – слезами залился. – Прости мое неистовство! И моя душа о тишине страждет.

– Чаю, пришло и твое время, Иван, проститься с миром.

– На Соловках не постригся, а здесь кто меня пострижет. Царь на войне, за царя Никон. Попадись я ему – на костре сожжет.

– В Троицкий Данилов монастырь, что в Переславле-Залесском, посылаю я полдюжины возов со снедью. Садись на один возницею, из Москвы выберешься, а в Переславле тебя уж Никону не выдадут.

Неронов поклонился:

– Нареки меня на иную жизнь, отче.

– Зовись Григорием, во имя Григория Богоносца.

Неронов взял Стефана за руку, прижался к ней лицом, и казалось ему: Вавилонская башня неприязни, неистовства, ненависти сокрушена в нем тишью да любовью.

Возы друг за дружкой катили по кремлевскому двору, мимо ямы, над которой был поднят невиданной величины колокол, отлитый ради побед русского воинства и для встречи царя-победителя.

В армячишке и тулупе Неронов боком сидел в санях, глядя, как возле колокола хозяйствует сам Никон. На голову выше всех, тыча властными гневливыми руками, сей новоявленный российский отче гонял туда-сюда людишек. Все суетились, чего-то и куда-то тянули, и усугубленная страхом бестолочь с лица и с изнанкиставляла саму себя на всеобщий погляд. Неронов и не подумал укрыться воротником тулупа, наоборот, глаза, встал в санях в рост. В яму наконец спустили лестницу. Никон попробовал, крепко ли стоит, и начал спускаться... Обоз пошел под горку к воротам, и Неронову не пришлось поглядеть, что было дальше, но, когда выехали за Кремлевскую стену, воздух всколебался вдруг, разъятый чудовищногласым колоколом.

«Видно, сам пробу снял», – подумал о колоколе и о Никоне Неронов.

Перекрестился.

– Эх, Россия-матушка! Коль не Батый, так Ванька Грозный, коль не Самозванец, так Никон.

Царя вспомнил: «Завоевался царь, разохотился. Как бы места своего не провоевал. Уж и так одно название, что царь».

Проезжая воскресным днем через людное село, Неронов сам себя застал за делом совсем негожим – на баб заглядывался. Покраснел Иван, улича бессовестные и ненасытные глаза свои, но вдруг понял: нет греха в его суетном погляде – то прощание с жизнью. Вон идет, живот несет: быть еще человеку.

Тихая тоска, как мышь, грызла душу. Все хорошее позади, и семьи уж нет, кто в чуму помер, кто в монастырь подался... Неужто черная ряса – пудовых вериг тяжелее?

На ночлеге в крестьянской избе Неронов все поглядывал из своего уголка на хозяев.

Мужик, пока брезжил свет, шил тулуп. Шил на продажу, придирчиво оценивая каждый стежок. Старуха пряла кудель и заодно приглядывала за печью. Хозяйка и две старшие девочки шили жемчугом. Жемчужин – полный ларец, жемчуг отборный – такое шитье не для себя. Три мальчика-погодка – горох пузатенький – разбирали шерсть. Скучное занятие надоедало, они то и дело затевали шумную кутерьму, но их не щелкали, не окрикивали, и, повозившись, малышня опять принималась одолевая заданный урок.

Мышь, поселившаяся в Неронове, нещадно скребла душу, прогрызая норку. Но куда?

Пропели Неронову: «Постригается раб Божий», – и отрекся он от прежнего, от суетного человека Ивана и предстал перед Богом и людьми чернецом Григорием.

Отдали его под начало старцу Феофану. Тот и глаз не поднял на инока.

– Поди, – сказал, – за озеро. Принеси со жнивы колосок.

Удивился Григорий, но пошел, куда послали. Мороз стоял рождественский, деревья орехи щелкали. С поля, открытого всем ветрам, снег сдуло, и, ссыкая негнущимися пальцами колосок, Григорий думал о бедном крестьянине: наголодуется хозяин, владея таким полем. Большой снег – большой хлеб.

Принес Григорий колосок, а у Феофана новая прихоть:

– Поди в город, попроси, ради Христа, пряничка.

Пошел с рукой стоять. Лавка с пряниками на бугре.

Мужики с возами лошадей в гору стегают, хоть глаза закрывай. И закрыл. Тут-то и положили ему денежку, за слепца приняв.

Купил пряник, принес Феофану, тот и говорит:

– Поищи у меня вошек в голове. Всю макушку сожрали.

Поискал Григорий вошек. Голова у старца розовая, чистехонькая...

– Добрые у тебя руки, – улыбнулся Феофан. – Добрым будешь монахом. Не возроптал на меня, старого, руки твои и те не осерчали.

Поцеловал нового брата во Христе и приступил к нему омыть ноги смирения ради, и сказал ему инок Григорий:

– Отложи сие дело, старец Феофан. Невелика беда – грязь на теле, дозволю душу измранную от грехов отскрести.

Поведал о себе без утайки. И уж наутро не сыскали в монастыре ни Григория, ни Феофана.

Свет на все четыре стороны – бел. Однако кто поставлен ведать души людские, тот ведает. Не скоро, не прямыми путями, но дошло до Никона – супротивник его неистовый Ванька Неронов обретається в Вологодчине, в Спасо-Ломовской Игнатьевой пустыни.

11

Дьяк Тайных дел Томила Перфильев читал записи, сделанные тайным обычаем со слов цесарского посла дона Аллегрети де Аллегретиса. Одно сказано на приеме у царского наместника князя Куракина, другое на базаре – купчишке, третье в бане – банному мужику.

Алексей Михайлович внимал, кушая яблочко.

– Бери! – кивнул дьяку на корзину с яблоками, когда тот кончил чтение.

Яблоки все щекастые, румяные. Томила взял которое поменьше, позеленее. У царя на душе потеплело: лучшее – господину, воистину преданный, пригодный для тайного дела человек.

– Что о речах-то этих скажешь? – спросил Алексей Михайлович, не поднимая век – иные умники ответ в глазах читают.

Томила сглотнул кусочек яблока, отер сок с бороды.

– Посол царя прелюбезный. Из кожи лезет, чтоб понравиться тебе.

– Ну а худо ли это?

– Не худо, государь, да вот боярин Василий Васильевич Бутурлин иное пишет.

Бутурлин прислал записку речей генерального писаря Выговского: польские города и воеводства, дружно признавшие протекторат шведов, ныне отложились от Карла X. В польские короли рвется трансильванский князь Ракоци, обещает полякам разгромить шведов, а у русского царя отвоевать Украину. Ему-де помогут в том турки, татары, валахи, мультае. Любо тебе, государь, писать в титуле: Великая, Малая, Белая, – так думай, с кем быть и на кого военную грозу вздымать...

С хрустом, серчая, сгрыз еще одно яблоко.

– Скажи мне, Томила, про кесаря Фердинанда. Все, что ведомо, скажи.

Томила вздохнул, поклонился:

– На престол Фердинанд Третий венчался в 1637 году. До того был главнокомандующим имперскими войсками. В главнокомандующие избран после смерти Валленштейна. За Яна Казимира хлопочет из родства, по матери они двоюродные братья.

– Не знал! – У Алексея Михайловича глаза так и засияли. – Спасибо, Томила. Ты, пожалуй, ступай, но далеко не уходи. Записи оставь. Сам все погляжу. Яблочек возьми.

Сам выбрал пару покрасше, поспелей. Ужасно ему нравилось нынче в государях быть: задача задана воистину государевой стати, тайности и хитрости.

Фердинанд III прислал Аллегрети в надежде помирить русского орла с польским. Императору-де невыносимо видеть, как обильно льется христианская кровь. Аллегрети про христианскую кровь горазд сокрушаться, но ведь и то правда: новгородский воевода, князь Голицын, первым на Русской земле встречавший цесарского посла, записал: «Говорил дон Аллегрети, что Ян Казимир просил у цесаря войска – от русских отбиться, и цесарь войска не дал, пообещав помирить короля с царем». Ян Казимир – несчастный человек. Король без королевства, претендент на шведский престол, битый шведами.

Ох эти шведы! Аллегрети спроста слов не роняет, большой сукин сын – иезуит, но шведы тоже превеликие мерзавцы. Аллегрети сто раз прав – украли победу. По-вороньи! Цап Варшаву, цап Краков, да еще и на Львов зарились. Вспомнив о Львове, Алексей Михайлович помрачнел.

– Томила! – крикнул, но от нетерпения сам же и побежал к дверям. – Томила! – В великом смущении государь прошелся по комнате, вздыхая и устремляя взоры в потолок. – Томила, ты пришли мне человека, который из Киева приехал... Нет, ты его сам, наедине, обо всем допроси хорошенько и тотчас доложи.

– Не поздно ли будет?

– Сам знаю, когда поздно. Допросишь – и тотчас ко мне!.. Нет! погоди! Веди его ко мне без мешканья.

Пред государевы очи предстал превеселый человек – сокольничий Иван Ярыжкин, Алексей Михайлович сам посвящал Ивана в сокольники. Узнал, обрадовался, но сказывал строго:

– Без утайки, как на духу говори! Да никого не жалея. – И прибавил после заминочки: – Государь, не ведающий всей правды, – слепец.

Вышел Ярыжкин от царя через час.

Перфильев вооружился пером и бумагой, ожидая, что его тотчас позовут...

Томление, повисшее в воздухе, тянулось, тянулось, и от двери, обитой наскоро сафьяном, повеяло бедой.

– Про что говорил-то? – вытягивая, как гусак, шею, прошипел по-гусиному Перфильев.

– Про все. О пушках брошенных сказал.

Дьяк не успел ни похвалить, ни покорить сокольника. Изнутри в дверь хватили уж в таких сердцах, что она, треснувшись о стену, уронила на пол сафьяновый покров.

– Томила! Перфильев! Казнить его, мерзавца! Глазки-то рачьи на мошну чужую выкатил! Казнить! Пушки ради возов побросал! Мои пушки, государевы, ради бабьих манаток. Мало нам шведов, сами у себя величие свое, пользу свою, имя свое, как мыши, крадем. – Затопал ногами на остолбеневшего дьяка, – Думаешь, поорет и забудет?! Отходчивый государюшко. Душа-человек. Ти-шайший. По Ивану Грозному заскучали? Так вот же вам, вот! Казнить!

И схвативши дверь за ручку, так ее затворил за собою, что доски лопнули и вывалились.

– Казнить казним, но кого? – подмигнул Перфильев Ярыжкину. Однако бледен был, на висках пот капельками.

Перекрестился, просунулся в расколовшуюся дверь:

– Великий государь, на кого указ писать?

Алексей Михайлович сидел на лавке, руки опущены, спина колесом – так мужики сидят, когда цепом на гумне намахаются до тьмы в глазах. Томила не знал, слышал ли его государь, но тот, не меняя позы, чуть поворотил голову к дьяку и сказал:

– Бутурлина Василия Васильевича – казнить, за нерадивость к государственной службе, за жадность и за дурь великую.

## 12

А Василий Васильевич, пыша боярской сановитостью, каждое слово что старорусская гривна, вел тайную государственную беседу с генеральным писарем Иваном Выговским.

– Гетман Войска Запорожского Богдан Хмельницкий прислал меня спросить, стоять ли войску в новое лето на Украине, обороняя его царского величества черкасские города, или идти в пределы Речи Посполитой?

От государя вестей у Бутурлина не было, но по степени уклончивости ответа хитроглазый Выговский тотчас определит, осталась ли сила у боярина после малоудачного похода и много ли стоят его слова. Много ли стоят русские?

– Служа исправно государю нашему, мы угодны Господу Богу, яко Давид, победивший Голиафа<sup>36</sup>, – так сказал Бутурлин и, прервав речь полной значения и величественности паузой, поднял вверх указательный палец. – Ибо! Не побиение врага надобно сладчайшему царю

---

<sup>36</sup> *Служа исправно государю нашему, мы угодны Господу Богу, яко Давид, победивший Голиафа...* – Давид, второй царь израильский (прав. 1004—965 гг. до н. э.), был восьмым сыном зажиточного вифлеемского жителя. Ко двору царя Саула попал благодаря своей игре на гуслях. Еще будучи юношей, победил Голиафа – тяжеловооруженного воина-великана из филистимлян. Как музыкант и оруженосец царя снискал в народе большую популярность.

Великой, Малой и Белой Руси, но победа, утишающая страсти и обращающая заблудших к спасению во имя и во славу Христа.

То, что Бутурлин – напыщенный дурак, Иван Выговский и сам знал. Но у дураков и хитрости дурацкие, не всегда понятные умным. Выговский, предлагая два плана военной кампании, оборонительный и наступательный, выводывал устремления московского царя и, возможно, выведал бы, да Бутурлин ничего не знал.

– Я отписал государю, что коли мы сложимся силами с Карлом, то и Львов будет наш, и Варшава. Ответа со дня на день жду.

Выговский, услышав такое, тотчас перевел разговор на всяческие мелкие и многие распри: где-то сено увезли, где-то купца ограбили... Бутурлин полностью разделял план Хмельницкого – покончить с Речью Посполитой как с государством.

Государев человек от Киева за пятьсот верст был, а до боярина Василия Васильевича уже дошло – опала грядет жестокая, милосердию уши воском залили.

Василий Васильевич серебряного лебедя – в возок, лебедьков-то себе оставил, и самого верного человека, внука своего, – к Никону, о пощаде молить.

Не о плахе призадумывался Василий Васильевич. За муки Бог наградит. И сын был в походе, и внук... Казнить не казнят, но в Сибирь спровадят, земли отберут, а бедность – родная сестра худородных.

За большие деньги добыл боярин малую скляницу. Человека своего посохом огрел, что мало торговался. Однако вернуть дорогой товарец – времени не осталось. Тайный дьяк Томила Перфильев ночевал в трех всего верстах от Киева, чтобы завтра поутру явиться к воеводе с государевой волей.

Василий Васильевич Богу дольше обычного не молился, дела вел по-прежнему, какие решая, какие откладывая на завтра. День был постный и стол постный. И только на ужин велел боярин поставить кубок-раковину в золотой оправе.

Хотел вином кубок наполнить, но вино в подвале. Не стал слугу звать. Налил кваса анисового, опорожнил в квас скляницу. И, поглядывая на розовый утренний перламутр, добытый из морской пучины, кушал русские грузди и пшеничную рассыпчатую кашу. Взял было кубок – рука дрожит, не уронить бы. В другой раз взял, а глазами на икону. Устыдился Господа Бога. Тут клещ в сердце лапами вцепился. Не вздохнуть. Вскочил Василий Васильевич на ноги да и сел.

Слуга, смелости набравшись, пришел свечу поменять, а боярин сидит, не шелохнется. Дотронулся до него – как лед холодный.

## 13

Великий колокол звонил великому государю. Колокол весил двенадцать тысяч пудов, царь, как пудами, победами был увенчан.

10 декабря – день во имя мученика Мины, на морозе не то что птицы – слова коченели, но народ шапки снял перед державным воином. И Алексей Михайлович голову обнажил перед своим державным народом.

«Бог видит нас, – думал царь, ожидая приближения крестного хода. – Впереди два патриарха, Никон и Макарий, Московский и Антиохийский. Не одной Москве победы русского царя в радость, но, зная, и всему православному Востоку».

Были златоустые речи и громокипящие благословения, поминались времена библейские и Моисей, Византия и Константин, был и дружеский шепоток:

– Алексеюшка! Человеке родный! Всех русских государей превзошел ты, витязь, на голову! – Глаза у Никона излучали любовь и восторг.

– Что Бог дал! Что Бог дал! – сиял Алексей Михайлович, вышибая у простодушных добрых людей радостные слезы.

– Цветочек наш! Как солнышко светится!

Всем народом шествовали, во имя Отца и Сына и Святого Духа, во имя государя русского и самих себя, православных и сильных. В новинку были победы. От Земляного вала до Красной площади путь получился многочасовой. Стемнело, когда царь вступил в Успенский собор.

Прикладываясь к мощам и иконам, Алексей Михайлович и рай, и Престол Бога уж так чувствовал, как дом чувствуют.

Царица Мария Ильинична пальчиками дотронулась до бровей героя своего.

– У тебя и бровки-то мяконькие! – И затаилась, обмерла, заждавшаяся ласк, а про ласки-то и думать грех: середина Рождественского поста.

Но государь придвинулся под бочок, да и взял свое бесстрашно, по-государски.

– Отмолим грех, – пообещала ему Мария Ильинична. – К Троице сходим, нищих да калек ублажим трапезой. Великий мой!

Алексей Михайлович лежал с закрытыми глазами, дрема, как в детстве, пеленала его в свои розовые пеленки.

– Вправду, что ли, великий-то? – спросил, совсем засыпая.

– Воистину, государь мой! Воистину!

## 14

Стрелец был молод, и Артамон Матвеев, ответчик за охрану царского дворца, сказал ему строго, но ободряюще:

– Ночь темна, но не страшнее человека. Пугаться тебе недосуг, ибо государеву жизнь и государев покой бережешь.

Но как не пугаться ночи, когда тьма аспидом стоит в двух шагах. Затаишь дыхание, и аспид не дышит, пойдешь – скрипу на всю Москву. Злонамеренье же, известное дело, на цыпочках подкрадывается.

В тереме, высоко над головою, почти что как звезда небесная, затеплился огонек.

«Неужто государь? – подумал молодой стрелец и пожалел государя: – Дня бедненькому не хватает».

Страж не ошибся, Алексей Михайлович бодрствовал. В ночной рубахе, в исподниках, подложив под себя одну ногу, как в детстве, за что Борис Иванович Морозов просительно укорял, сидел он, забывшись, за своим столом, сладко ему было, хотя слезами все бумаги свои закапал. Умер Никита Иванович Романов<sup>37</sup>. Пока племянник в трубы трубил да полки водил, отошел старик в мир иной, наказав похоронить со смирением.

Никита Иванович – родная кровь, корень и столп рода Романовых. Не будь в Никите Ивановиче романовского здравого ума, сановной прочности, принимаемой завистниками за крепость устоев, не будь он баловнем народной славы, как знать, сидел бы нынче на русском престоле царь именем Алексей.

А вот царевым потатчиком Никита Иванович никогда не был! Оттого и любили его в простоте душевной работающие да службу служащие люди, почитали защитником от всех неправд.

Государевых любимцев Никита Иванович и сам сокрушить был не прочь. И сокрушал.

---

<sup>37</sup> Никита Иванович Романов – двоюродный брат царя Михаила Федоровича и двоюродный дядя царя Алексея Михайловича, боярин (с 1645 г.), умер 11 декабря 1654 г. Был крупнейшим собственником и богатейшим человеком своего времени. (Его имущество перешло к царю, ибо Н.И. Романов не имел детей.) Поддерживал оппозиционному правительству Б.И. Морозова группировку. В июне 1648 г. безуспешно боролся против возвращения к власти Морозова.

Не оттого ли сжимается сердце, что уж не будет боле опеки, что уж не к кому приклонить голову, иссякла правда прежнего мира, отошла в сторонку мудрость отцов?.. Сам верши, сам и отвечай перед Богом да перед совестью.

Алексей Михайлович вздохнул и склонился над росписью городов и сел – дядюшкиным наследством, которое переходило отныне в его личную царскую собственность, в копилку Романовых.

Рязанский город Скопин, ярославский – Романов, волости Домодедовскую, Карамышевскую, Славецкую, села: Измайлово, Ермолино, Лычово, Смердово, Клины, Чашниково, слободку Товаркову, деревню Петелино государь решил записать покамест за Хлебным приказом. Это была половина имения из общего числа 7012 дворов.

Для кормления обнищавших от чумы и в награду за походы на войну государь расписал на семь московских Стрелецких приказов все, что было в закромах Никиты Ивановича: 21 куль сухарей, ржи 184 чети, 100 четей овса, 90 кулей толокна, 150 – ржаной муки, 500 полтей<sup>38</sup> ветчины. Хлеб забрал, но слуг дворовых не забыл и голодными не оставил. Каждого определил на новую службу – кого в московские приказы, кого по большим и малым городам.

Себе взял мастеровых людей, сокольников, конюхов, стряпчих, стадных, столповых, приказчиков.

– С прибылью тебя, государюшко! – вздохнул горько Алексей Михайлович, и стал перед его взором остроглазый, с насмешечкою на розовых губах, румяный щечками, такой серьезный, такой колючий, такой любимый старик. – С прибылью.

И ясно подумал вдруг: «Приказ надо завести для таких-то вот, для наследственных земель да и для всего государеваго дела, чтоб с пылу с жару шло, а не мыкаясь от дыяка к дыяку».

Придумалось так хорошо, что улыбнулся, дунул на свечу и, подойдя к окошку, поглядел, как там Москва-то спит.

«Господи, чумой бедную обожгло! Молимся лихо, а грешим, знать, еще лишее».

Стрелец, стоящий на снегу, вздрогнул, показалось – глядит. Дернулся глазами – в окошке свет погас. Может, и впрямь глядели на него. Может, и сам государь глядел. В Москве великого человека встретить – как шей похлебать.

## 15

Благоразумный дон Аллегрети не подарками, не угодливо-усердным признанием величия его святейшества покори́л сердце патриарха Никона. Подарки были бедноваты. В обращении – европейский высокомерный холод: ни единой попытки расположить высокого собеседника.

Никон опешил: он уж и забыл, когда с ним беседовали как с равным, ведь даже царь высокую голову убирал перед ним в плечи.

И однако ж, гордыня помалкивала.

Дон Аллегрети заговорил о столь высоких и значительных предметах и выказал такое знание святорусской истории, что Никону оставалось изумленно замирать душою.

Отверзлись глубины и пространства, которые с Кремлевского холма давно бы уж усмотреть надо было. А вот поди ж ты, чужой указывает...

– Русская земля великолепна и счастлива созвездием святых князей и княгинь, – сказал дон Аллегрети, – ни одно государство в мире не имеет такого небесного воинства, молящегося у Престола Всевышнего за своих потомков. Равноапостольные княгиня Ольга и князь Владимир, ярославские чудотворцы – князья Василий, Константин, Федор с чадами Давидом

---

<sup>38</sup> *Полть* – полтуши мяса.

и Константином, князья Борис и Глеб, Михаил Черниговский, Роман Угличский, Георгий Всеволодович, князь Василько, Довмонт Псковский...

У Никона брови столбиками встали, а дон Аллегрети не иссякал:

– Царевич Дмитрий, великая княгиня Анна Кашинская, Петр – царевич Ордынский, Глеб Владимирский и отец его Андрей Боголюбский, Иоанн Угличский...

– Иоанн Угличский? – несколько усомнился Никон.

– В иночестве Игнатий Вологодский, преставился в 1523 году... Ну и другие. Великий Александр Невский, брат его Федор Ярославич... Даниил Московский, Мстислав Храбрый, Харитина Литовская, Евфросинья...

– Благословляю тебя, чужестранца! – воскликнул Никон. – Нам бы так своих святых и знать и чтить!

– Я – славянин, – ответил с достоинством дон Аллегрети. – На грядущем – покров Божественной тайны, но мне чудится, что пути народов будут озарены светом, проистекающим с Востока. Сила святейшего папы – в единстве католической церкви. Не пора ли и православным церквам иметь своего папу?

Дон Аллегрети смотрел прямо в глаза, и у Никона хоть ихватило дух, но перетерпел коварное гляденье.

– Христианство, даже разъединенное, – Аллегрети возвел глаза к иконе Спаса, – не станет добычей мусульман. Однако сколько уже от сей напасти претерпели и народы Востока, и народы Европы. И сколько еще претерпят... Вот почему император Фердинанд находит соединение Московского и Польского царств не только разумным, но весьма желательным.

– Под чьей же короной? – задохнулся от своего же вопроса Никон.

– Под короной благоверного царя Алексея Михайловича. Вернее будет сказать, под шапкою Мономаха.

– А где же должен быть святой престол православного папы? – не удержался от детского вопроса Никон.

– В Москве.

Явилась пауза. Патриарх, не в силах унять ознобившего все его тело волнения, встал, подошел к иконе Спаса, приложился.

– Мириться надо с Польшей! – сказал как великую новость и, не позабыв оставить за собой первенство во всезнании российской святости, прибавил: – Святых князей и княгинь на Руси и впрямь как яблок на райском древе: Всеволод Псковский, Ростислав Смоленский, Игорь, князь Черниговский и Киевский, Роман Ольгович Рязанский, Владимир Ярославич Новгородский, князь Андрей Спасокубенский... Потому и говорим – святая Русь.

## 16

Наконец-то патриарший дом был отстроен и украшен до последнего гвоздя, до последней золотинки в домашнем храме во имя святых митрополитов Петра, Алексея, Ионы и Филиппа.

Праздник новоселья Никон приурочил ко дню памяти святого Петра-митрополита, а потом спохватился: 21 декабря приходилось на пятницу, а в пятницу монашеский стол без рыбы. Поскреб патриарх в затылке и перенес торжественную литургию с пятницы на субботу, чтоб был праздник как праздник, с молитвой, но и со столом, за которым тоже не заскучаешь. Служили в Успенском соборе.

Боярыня Морозова<sup>39</sup> стояла рядом с царицею, за запоною<sup>40</sup>. Такая литургия и для Москвы редкость. Никону сослужили патриарх Антиохийский Макарий, митрополиты – Сербский Гавриил, Никейский Григорий, а своих архиереев было как дьячков, хоть на посылках держи.

---

<sup>39</sup> Боярыня Морозова – Морозова Федосья (Феодосия) Прокопьевна, урожд. Соковнина (?—1675), боярыня, жена Глеба

Долго служили, со всем великолепием, но все заметили – Никон сам не свой. То голос сорвется, то рука задрожит.

В самом конце службы к Алексею Михайловичу, держа в руках греческого покрова клобук и камилавку<sup>41</sup>, подошел патриарх Макарий и сначала по-гречески, а потом через толмача по-русски испросил разрешения возложить их на голову патриарха Московского.

– Дабы не разнился одеянием от других четырех вселенских патриархов.

Новый клобук, в отличие от старого, приплюснутого, был высокий, с херувимом, вышитым золотом и жемчугом.

Никон стоял потупясь, щеки красные, на лбу бисером пот.

– Отче святой! – воскликнул Алексей Михайлович. – Иди ко мне, святая десница моя.

Взял у Макария клобук и камилавку и водрузил их на голову собинного друга вместо прежних, пресных.

Никон улыбнулся. Все-то морщинки на лице его разгладились. Громадный, в слепящем белизны клобуке, он был похож на гору с шапкой нетающих снегов.

– Арарат-гора! – воскликнул Арсен Грек<sup>42</sup>.

И Никон просиял, как обрадованное подарком дитя.

– Бабий угодник! – сжала гневно губы царица Мария Ильинична. – Ему бы все красоваться. Мало нам чумы...

Тень прошла по лицам русского священства. Холодком Никону повеяло в спину. Зыркнул на игуменов да протопопов, как кнутом стегнул.

Царь и бояре, приложившись к иконам, покинули собор, народ удалили. Настал черед прикладываться к иконам царице, терему, приезжим боярыням.

За Марией Ильиничной шли сестры царя, потом Анна Ильинична Морозова и прочая рать: мамки царевых детей, царева и царицына родня. Вел шествие от иконы к иконе, к ракам святых сам Никон.

Принимая у него благословение, Федосья Прокопьевна, жена Глеба Ивановича Морозова, поглядела на святейшего долгим поглядом и зарделась.

– В чем твои сомнения, дочь? – спросил Никон.

– На клобук гляжу, – призналась простодушно Федосья Прокопьевна. – Уж очень хорош клобук!

Тут и Никон зарделся.

– Я к Рождеству новый саккос шью, – оповестил он женщин. – К новому саккосу – новый клобук.

Поздно вечером, отпуская Морозову из терема, царица Мария Ильинична шепнула подружке:

---

Ивановича Морозова, брата Бориса Ивановича Морозова, царского воспитателя. После смерти мужа и деверя она с малолетним сыном осталась владелицей огромного состояния. Принадлежала к одной из сильнейших фамилий, была близка ко двору и выполняла обязанности «приезжей боярыни» у царицы Марии Ильиничны. В 1664 г. по возвращении из ссылки Аввакум нашел у нее приют. Федосья Прокопьевна была его любимой духовной дочерью. У нее в доме постепенно образовался старообрядческий центр. В 1670 г. приняла тайный постриг. Став инокиней Феодорой, начала более откровенно проповедовать старую веру. Покровительствовавшая ей царица к тому времени умерла, и гнев царя на Морозову нарастал. В 1671 г. она отказалась присутствовать на его свадьбе с Натальей Нарышкиной, хотя это предписывалось ее обязанностями при дворе. В том же году она и ее сестра Евдокия Прокопьевна Урусова были арестованы. В 1673 г. их подвергли пыткам, но не добились отречения от старой веры. Тогда их отправили в Боровск, заключили в земляной тюрьме и в 1675 г. умили голодной смертью.

<sup>40</sup> *Запона* – занавеска, занавес.

<sup>41</sup> *Камилавка* – наглавник, род черной шапочки в виде шляпной тулупки, носимой монахами под клобуком.

<sup>42</sup> *Арсен (Арсений) Грек* – справщик богослужебных книг XVII в. Приехал в Москву в 1649 г. вместе с патриархом Иерусалимским Паисием. Заподозренный в том, что в бытность свою в Риме, где он учился, он перешел в католичество, был сослан в Соловки, но через три года освобожден. В 1652 г. Никон поручил ему исправление богослужебных книг. Потом Арсений Грек основал школу, где ввел обучение греческому и латинскому языкам, за что снова был обвинен в измене и опять сослан на Соловки. По тем временам он был человеком образованным, однако в нравственном отношении – хитрый, не без основания обвинявшийся в неоднократной перемене религии.

– А столп-то наш – как боярышня на выданье. Хорошо ты ему сказала. Я довольна.

Федосью Прокопьевну удивила откровенная, без особой причины неприязнь царицы к патриарху. Пересказала царицыны слова мужу, вернувшемуся с новоселья уж на другой день, после заутрени.

– Ты про такие дела на людях помалкивай, Федосья Прокопьевна! Гляди, слушай, но – Богом тебя умоляю – помалкивай! – Глеб Иванович не на шутку испугался. – Царь к святейшему благоволит столь ревностно, что уж и не знаешь, кто ныне царь. Подносил вчера Никону хлеб-соль и сорок соболей, чуть не в пояс кланялся. Двенадцать хлебов – двенадцать поклонов, двенадцать сороков соболей – еще двенадцать поклонов... Да! Новость какую тебе скажу. Никон, видя царское радушие, испросил прощение для Бутурлина: в Москву привезут хоронить. А то ведь государь и на труп грозу возвел, сжечь велел покойника. Видишь, какая сила у Никона!

В глаза жене заглянул с ласкою, но просительно:

– Поостерегись, голубушка. Себя и нас побереги. Чихнут в Архангельске, а Никон в Москве платочком нос утирает. Ему все ведомо, и ничего-то он не забывает. Ни малого, ни большого. Малого-то еще пуще!

– Неужто и нам, Морозовым, надо бояться?

– Не бояться, поостерегаться, – кротко, однако ж настойчиво повторил Глеб Иванович просьбу. – Не все выкладывай, что на ум пришло. Другой то же самое скажет. То и любо, что не сам сказал.

Федосья Прокопьевна ждала гостей, и поучения Глеба Ивановича были не напрасны.

## 17

Первой приехала сестра Евдокия Прокопьевна. Привезла в подарок бочонок соленых рыжиков, каждый грибок с копеечку, и еще ручную ласку, уж до того пригожую, что весь дом всполошился, не нарадуясь. Молоденькая, с ладонь, белая, как комок снега на гроздях рябины, она скользила по плечам и рукам собравшихся людей, всех одаривая теплым и нежным своим прикосновением.

За Евдокией Прокопьевной пожаловали Айша, жена новокрещеного касимовского царевича, и грузинская княжна Мария из свиты царицы Елены Левонтьевны. Последней, чтоб ранним приездом не уронить своего великого достоинства, осчастливила дом своим посещением Анна Ильинична Морозова.

Никогда, бедная, так и не позабыла, что она красивее сестрицы Марии Ильиничны, что ей достойнее в царицах-то быть. Показал бы ее царю Борис Иванович первой... Себе приберег лучшее. В душе-то Анна Ильинична сколько раз про ту несправедливость Богу на мужа жаловалась. Ну ведь и впрямь обобрал хитроумный старик молодого царя!

Оттого и была временами Анна Ильинична желта лицом. Не любила она свои завидки и, когда забывала о них, жила легко, как синичка.

Гости были до того все красивые, что у дверей дворовые женщины в очередь у щели стояли.

– Опять подглядывают! – шепнула Евдокия Урусова сестре.

– Любуются! – не согласилась Федосья.

– Ах, да пусть поглядят! Где же им на нас еще-то поглядеть?! Все в царицыном терему да на царицыных пирах! – Анна Ильинична оправила на шее преудивительное ожерелье персидской бирюзы. Бусины с райское яблочко, на каждой неведомые письмена и знаки.

От голубого на лице голубиный небесный свет, вся потаенная грусть через румяна напоказ. Уж такое девичье лицо, такое милое, с капризом, с загадкою – даруй царевой свояченице два синих крыла, и вот она, птица феникс, наяву.

– Сколько помню, не видала на тебе этих бус, – сказала Евдокия Прокопьевна.

– Вчера только купила. На Пожаре<sup>43</sup>. Там ведь чего-чего только нет! Мужикам – война, бабам – раздолье.

– Правда, правда! – Черные глазки царевны Айши засверкали, рассыпая звезды радости. – Я три шубы себе купила да пять сундуков польских нарядов. Табун отдала. Не жалко. Кобылицы еще народают. Вот поглядите-ка!

Она встала посреди горницы, показывая платье, все в кружевах, с искрами драгоценных камней, малоприметных, но чистых. Приподняла платье, сапожок показала, жемчуг по сапожку розовый, гурмыжский.

– Наши женщины любят, когда мужчины с войны приходят.

– А когда они не приходят? – тихо спросила грузинская княжна. – Когда из моих сундуков берут? Когда в доме убитые, на улице убитые? Когда все сожжено? Когда женщин, как скот, плетью гонят от родных очагов неведомо куда?

Федосья Прокопьевна слушала княжну Марию, и огненная краска заливала ей лицо. Она ведь тоже сундуками покупала польское дешевое добро.

«Богородица! Ни единой тряпицы на себя не надену!» – тотчас дала обещание, подняв глаза на икону Казанской Божией Матери.

Вслух сказала:

– Я наведалься в богадельню для увечных, что Ртищев открыл. Пусть бы ее не было никогда, войны.

– Пустое! – сказала Анна Ильинична. – Пока есть мужчины, война не переведется. Война плоха для тех, кого бьют. Я тоже была в богадельне, отвалила десять золотых. Они все там счастливики! Такой еды, пока целы были, не видывали. Целуют свои обрубки: «Мы вот как довольны, выше головы».

Разговор получился тягостный, и Федосья Прокопьевна сказала первое, что на ум пришло:

– Бутурлина, говорят, в Москву привезут хоронить. Никон заступился.

– Никон? – фыркнула Анна Ильинична. – Господь Бог! Боярин Василий Васильевич взял в Люблине Животворящую частицу Христова Креста. За то и прощен государем.

Беседуя, гости и хозяйка устроились возле окошек, каждая со своим рукодельем. Лучше нет занятия! Наслушаешься, наговоришься и дело сделаешь. За разговором руки своим умом живут.

– Видали, как Никон-то себя на стенку присадил? – спросила Анна Ильинична. – Все святые, святые, и он тут как тут!

– Где же это? – спросила Евдокия Прокопьевна.

– Да ты в Патриарших палатах была ли?

– Все ездили смотреть.

– В церкви домашней на задней стене, – подсказала сестре Федосья. – Там и другие московские патриархи.

– Говорят, новый саккос обошелся Никону в семь тысяч золотом, – сообщила новость Анна Ильинична.

– Ваш патриарх красив и величав, – сказала грузинская княжна. – Он и должен быть в силе и свете, ибо все православные люди, живущие под турками, молятся на него, надеются на его защиту.

– Что я скажу! – пропела Анна Ильинична. – В Москву привезли каменецкого каштеляна Потоцкого. Гордый, ни на кого не смотрит. Уж такой!..

– Какой? – спросила радостно Айша.

---

<sup>43</sup> *Вчера только купила. На Пожаре.* – Пожар – одно из названий Красной площади.

– Ну, поляк и поляк! Идет легко, а каблуками стучит. Руками не машет, не орет. Глянет на слугу, тот и задрожит, как лист осиновый... В Чудов монастырь поместили оглашенным. Через шесть недель крестят по-нашему. Сам Никон будет крестить. За то, что крестится, царь поместьями обещал наградить.

– У нас всегда так! Кого побьем, того пуще себя и пожалеем! – сказала Федосья Прокопьевна.

– С поляками замирение будет, – охотно согласилась Анна Ильинична. – Теперь со шведами раздеремся. Приехали Столбовский мир подтверждать<sup>44</sup>, но государю от них одна досада. Титулов государевых не признают. Не зовись, мол, ни великим князем Литовским, не прибавляй в титуле ни Белой России, ни Подолии с Волынью. А ведь наше теперь все! Цесарский посол Аллегрети иное дело, польскую корону государю обещает! – И всплеснула белыми ручками: – Какую корону государю сделали – красоты неопишущей. Мне царица показывала, а вы на Рождество увидите. У самого царя Соломона такой короны не было!

– Ой! – сказала вдруг Айша, замерев глазами.

– Что, милая? – поднялась, отложив работу, Федосья Прокопьевна.

– В животе ворохнулось.

– Ах, ворохнулось! – заулыбались женщины.

– Ворохнулось! – счастливо, тоненько рассмеялась Айша.

Одна Анна Ильинична не обрадовалась, пожелтела мигом, нос, как у хрюши, вспух. Детей Бог не дал, а зависти дал на троих.

– Синичка! – углядела в окошке Айша.

Окна в доме боярина Глеба Ивановича Морозова были из заморского стекла.

## 18

Звезды и солнце сошли на Русскую землю и слепили, застили глаза царю-победителю. Все было в царстве крепко, вечно и прекрасно. Жуткий крещенский мороз, вывесивший над Москвою жемчужную пелену, и тот был Алексею Михайловичу не в тягость, а в бодрое утешение.

Патриаршие дворяне беспрестанно помешивали в прорубях воду, и оттого над Москвой-рекой стояли хрустальные звоны.

Святил воду сам Никон, но охотников окунуться в иордань было не много, да и тех благоразумные люди удерживали не без успеха. Не то что птицы попрятались прочь с небес, но даже облака съеживались в пушистые шарики, да и пропадали в ледовитом зеве ледовитого небесного простора.

Как только Никон опустил в воду крест, Алексей Михайлович первым попнулся в прорубь рукою, омочил лицо, опущенное инеем и сразу взявшееся сосульками на бровях, усах, бороде. Федор Михайлович Ртищев всполошенно захопотал возле царя, утирая его полотенцем и смачивая двойной водкой лдышки.

Все глядели на смелого своего царя, но тут пошел в народе говорок, а потом и движение.

– Киприан! Киприан! – донеслось до царя.

---

<sup>44</sup> Приехали Столбовский мир подтверждать. – Столбовский мир – «вечный» мирный договор, заключенный в деревне Столбово (неподалеку от Тихвина) 27 февраля 1617 г. между Россией и Швецией. Завершил русско-шведскую войну, фактически начатую шведами в 1611 г., но объявленную в 1613-м. Переговоры начались в 1615 г. По условиям Столбовского мира Швеция признавала династию Романовых, возвращала России Новгород, Старую Руссу, Порхов, Ладугу и Гдов с уездами и Сумерскую волость. За шведами оставались Ивангород, Ям, Копорье и т. д. – то есть Россия оказалась оторванной от Балтийского моря. Кроме того, царское правительство обязывалось выплатить Швеции 20 тыс. рублей серебром. Границы, установленные Столбовским миром, сохранялись до Северной войны 1700–1721 гг.

Через толпу к проруби, где были Никон и Алексей Михайлович, шел недавно явившийся Москве, но всею Москвой уже любимый юродивый Киприан. Он был, как всегда, гол и бос. Тряпица покрывала срам спереди – вот и все утепление. Киприан, не обращая внимания на драгоценные шубы бояр, на бердыши стрельцов, протиснулся к проруби и сел голым задом на снег. Сел, ощерился улыбкою Никону, цапнул недобрым взглядом царя, опустил ноги в прорубь, поболтал ими и съехал потихоньку в купель. Погрузился с головою раз, другой, третий. К Киприану потянулись руки, подхватили, вытащили. Кто-то пытался отереть ему тело, кто-то набрасывал на плечи шубу. Киприан, смеясь, погрозил пальцем Никону, а на царя же опять глянул тяжело, похмельно, будто видел впервые, будто не узнал, не разглядел как следует.

«К чему бы?» – всполошился в душе Алексей Михайлович, но, оказалось, к хорошему. Уже на следующий день во время обедни государю принесли радостную весть: ополчась, поляки напали на Вильну, но были крепко биты, и многие из них сдались в плен.

Алексей Михайлович послал к Никону в алтарь дьякона просить, чтоб после обедни патриарх отслужил благодарственный молебен.

Никон уже знал о победе, более царя знал. Царю о виленском деле доложили устно, а патриарху принесли воеводскую отписку.

Предвкушая великие радости, Никон облачился в новый саккос и поглядывал из алтаря за царем. И вот когда Алексей Михайлович взялся, по своему обыкновению, оправлять перед иконами свечи – какую зажигал, с какой нагар удалял, какую гасил, – патриарх, сияя башнеподобным клобуком, вышел из Царских врат с воеводскою грамоткою и зачитал прилюдно удивительный рассказ о сражении под Вильной. Воевода, смущенный легкостью победы, а еще более смятением и безоглядным бегством прежде совсем не робкого польского войска, спросил пленных – откуда у них такие страхи перед русскими. И сказали ему: «Мы не от тебя, воевода, бежали, не от стрельцов твоих. Бежали от страха перед небесной ратью, ибо над твоим воеводским войском блистало в небе доспехами неодолимое воинство с царем Алексеем и Михаилом Архангелом впереди». Голос Никона дрожал от восторга и ликования. Алексей Михайлович, слыша такие слова, заплакал от радости. Принял тотчас патриаршее благословение, расцеловался с Никонем, и обильные слезы их смешались. Певчие грянули «Многая лета» царю и патриарху. При чем царя рекли самодержцем Великой, Малой и Белой России.

И Алексей Михайлович крикнул певцам:

– Патриарху Никону пойте так же, как и мне: патриарх Великой, Малой и Белой России! И певчие пели. И то было славное для всех русских величание.

## 19

Пело у государя сердце. Ночью, лежа с Марией Ильиничной в постели, не утерпел, похвастал:

– Слышь, Ильинична! Вот оно как – Богу-то молиться всем сердцем. Ты Богу слово и душу, а Бог тебе – жизнь и благополучие. Такое нехитрое дело, да не всяк истину сию разумеет. Сказал и примолк. Уж больно все хорошо! К добру ли?

– Ты что? – спросила Мария Ильинична, почуяв в муже затаенную тревогу.

– Пойду погляжу, кто нынче в карауле стоит.

– Ты же сам стрельцов в свой полк собираешь.

– Да уж, конечно, сам. – Государь повернулся на спину, но тотчас и поднялся. – Бережного Бог бережет.

Не ленился одеться, вышел в комнату перед спальней. Из-за стола поднялся Артамон Матвеев.

– Доброй ночи, государь.

– И тебе доброй ночи, Артамон, – и поглядел вопросительно.

– Я посты с полчаса назад проверял. Все спокойно, государь.

– Пошли еще поглядим.

Караульщики молодец к молодцу. Все на местах, глаза ясные, ни одного дремой не смо-  
рило.

Вернулись в покои.

– Я с Антиохийским патриархом в Савво-Сторожевский монастырь собираюсь сходить...  
Твой полк со мной пойдет. Изготовься.

Государь сел за стол, за которым нес караул Матвеев, поглядел в книгу, что осталась  
открытой. Прочитал:

«Дерево, которое ты видел, было большое и крепкое, высотой своею достигало до небес  
и видимо было по всей земле. На котором листья были прекрасные и множество плодов, и  
пропитание для всех, под которым обитали звери полезные и в ветвях которого гнездились  
птицы небесные. Это ты, царь, возвеличившийся и укрепившийся, и величие твое возросло и  
достигло до небес, и власть твоя – до краев земли». Книга пророка Даниила?

– Даниила, государь.

– Как удивительно! Прочиталось не то и не другое, а вот это самое.

Чуть хмурясь, но глазами сияя, Алексей Михайлович прошел в свой кабинет, зажег свечу.  
Бумага лежала, ожидая пера и чернил. Государь подумал и написал: «Ясак<sup>45</sup> Якова Павлова  
сына Соловцова – махай, махай. Ясак Семена Федорова сына Полтева...» По фамилии пусть  
будет! И пароль, и отзыв: Полтев – Полтев. А каков ясак Артамона?

И улыбнулся.

Закончив роспись стрелецких голов и их сторожевых кличей – ясаков, спрятал бумагу в  
сундук, сундук запер, ключ спрятал. Вошел к Матвееву:

– Запомни, Артамон! Твой ясак: божедом. Тебе скажут: «Божедом», и ты отвечай: «Боже-  
дом». У всякого стрелецкого головы будет теперь свой ясак. Остеречься лишний раз не грех  
– война ведь идет.

Погладил вдруг Артамона по голове:

– Ты у меня добрый слуга. Богу верные люди угодны.

Притворил за собой дверь тихохонько: Мария Ильинична посапывала во сне, как ребе-  
ночек.

## 20

12 января у царя всегда был пир. Любил и величал милых своих сестер Алексей Михай-  
лович, а к Татьяне Михайловне, младшей, сердцем лепился – веселый, легкий человек. Она  
и в страданиях светла.

Зимние праздники в царском семействе чередой, но молодому праздники не в тягость.  
Все посты у царя с огнем, все праздники с жаром.

На Симеона и Анну 3 февраля давали пир в честь дочери Анны, младшенькой. 12 фев-  
раля, в память Алексея Московского и всея России чудотворца, именины царевича Алексея,  
пир на весь мир. 1 марта именины старшей дочери Евдокии, 17-го – именины самого государя.  
И это только домашние торжества...

В любимый Савво-Сторожевский монастырь отправился 17 января. Здесь 19-го празд-  
новали память обретения мощей святого.

Плыть в возке по накатанной дороге, среди белых снегов, когда небо склоняется к пут-  
нику, а земля бежит прочь за спину, – душе и сердцу великое успокоение. Будущее перед гла-

---

<sup>45</sup> Ясак – сторожевой и опознавательный клич, знак, отзыв на пароль; знак для тревоги, сигнал вообще.

зами, а прошлое уши ветром щекочет. Воздух пахнет лошадьми и корочкой наста. А наст – это привет весны.

«Упрямый человек, – с легкою досадой думал Алексей Михайлович о Никоне. – Не успел, чай, умориться от бесед и дружества со своим государем. Нет бы вместе почтить любимую царскую обитель! Как же! Свои любви ему дороже. В Иверский монастырь попёхал. Ему двести верст ближе, нежели сорок с царем в одном возке».

– Ну да ладно! – сказал государь вслух и, всполошась под соболями пологам, толкнул в спину сидящего возле кучера Артамона Матвеева. – Пошли-ка без мешканья человека в Москву. Пусть патриарх Макарий, антиохиец любезный, соскочит с печи да к нам спешит, к Савве. Савве на небесах то пришествие будет в радость.

Матвей тотчас спрыгнул на край дороги исполнять монаршую волю, а монарх потянулся в сободем тепле да и задремал – по-ребячески, с улыбкою.

Березы перед глазами пошли... Между березами стоял белый старец, сложа пальцы длани для архиерейского благословения. У Алексея Михайловича дух захватило – осенит ли? Старец поднял руку еще выше и повернул вдруг голову через плечо, поглядел в лес.

Царь Алексей потяжелевшим тотчас телом потонул в соболином меху, ласковом да темном. Берлога погрезилась, медвежьи, тускло светящие глазки. Косматая лапа с аршинными когтями потянулась за голову, чтоб содрать волосы от загривка до самого лба.

– Савва, спаси! – прошептал Алексей, и Савва, белый старец, покачал головою, жуя медведя. Медведь нехотя отпрянул, попятился, не отводя звериных глаз от глаз человеческих.

Алексей Михайлович проснулся.

«Так и не благословил! – подумал о святом Савве. – От медведя и во сне спас, как спас наяву. Но не благословил».

После той давней охоты Алексей Михайлович берлоги тревожить перестал. Царю молодчество непозволительно. Ради потехи детей осиротить – грех и глупость. Осиротить же государство – геенна, которую и всем святым не отмолить.

Злополучная охота, однако же, даровала царю Алексею верного заступника. Ни денег, ни мастеров не жалел для украшения Саввиного звенигородского дома – обители монахов молчаливых и работающих.

Когда князь Дмитрий Донской отблагодарил Господа за победу над Мамаем устройением обители Успения Божией Матери на реке Дубенке, в игумены преподобный Сергей Радонежский благословил Савву, лучшего своего постриженника.

Сподобился Савва быть игуменом и в самом Троице-Сергиевом монастыре. Недолгим вышел подвиг. Звенигородский князь Юрий Дмитриевич призвал святого себе в духовники. В эту пору и поставил Савва на Сторожевской горе деревянный храм Рождества Богородицы, а для себя малую келью. То было в 1377 году, а в 1399-м Савва Сторожевский основал монастырь для «всех ищущих безмолвного жития».

По синему снегу меж засиневших берез подошел царский поезд к заиндеветым воротам трезвонившего колоколами монастыря.

## 21

Санки были алые, как солнце на восходе, легкие, как птичье перышко. Но в это перышко была впряжена шестерка вороных, с царских конюшен лошадей.

«До чего же черные люди на земле водятся», – подумал возница, укрывая Антиохийского патриарха беличьим пологом и заваливая ему ноги пахучим, с медовых царских лугов, особо береженным сеном. Рядом с патриархом устроился его сын, архидакон Павел.

Гикнула и снялась с места стража, лошади плавно тронули, трусцою прошли через кремлевские ворота и за воротами сорвались, как стрела с тетивы. Звезды от конского лёта расте-

кались по небу дождевыми каплями, и возница нет-нет да и оглядывался на седоков. Где им, живущим в вечном тепле, знать такие скорости?

Архидиакон Павел понимал эти сочувствующие взгляды, улыбался в ответ. Не отведав зимы, русской жизни не понять, а понять хочется. Павел жадно глазел на белые просторы, но мороз хватал за лицо. Приходилось с головою прятаться в душный звериный мех.

Скоро уже ехали лесом. Ели, тучные как бояре, обступали дорогу тесно и страшно. Звезды в небе полыхали. И столько в них было огненной игры, что душа смущалась. Павел столько земель прошел, стольким чудесам дивился, что привык взирать на все со спокойным достоинством, столь необходимым для поддержания величия отцовского сана. Но где же тут думать о приличествующих позах, когда не езда – птичий лет, не земля – снег и вместо неба – сам Престол Господний. Вся жизнь тутотшняя без роздыху, без размеренности и раз и навсегда заведенного правила. Прискакали, подняли, усадили в возок – и ночь им не ночь. А днем спать залягут. Всем царством!

...Бег прекратился вдруг. Куда-то завернули. Встали.

Не чуя ног, Павел выпростался из санок. Крыльцо, двери, жаркая печь. Свеча. Пирог прямо из печи. Крепкая водка. Брусничная вода. Страшного вида, но изумительного вкуса соленые грузди.

Возницы и стрельцы тулупы свалили у порога, пообтаяли, покушали, что им гости оставили. Гости едоки слабые, заморские. Поклевали по-куриному – и в куриную дрему.

Павел и впрямь сомлел от жары, от сытной еды, от водки. И встал перед глазами его милый Алеппо.

На белесой на родной земле вечная, как сама земля, крепость. Улочки, как потоки с гор, разноязыкое человеческое море.

Господи! И дурному крику осла обрадовался бы.

И торопились, и не спали всю ночь, а приехали к Саввиному монастырю уж на другой день, после обедни.

Патриарха встречал сам государь, у ворот, со всею монастырской братией.

Румяный, серьезный, а глаза веселые, лицо доброе. От мороза деревья клубами дыма, а он, получая благословение, шапку скинул. Сам повел гостей в царицыну палату, лишний раз поглядеть, удобно ли будет, покойно ли, по чину ли?

Иконы в дорогах ризах сплошь покрывали стены трапезной и спален: «Спас», «Богоматерь», «Николай Чудотворец», «Настасья Узора разрешительница», «Алексей, человек Божий». Иконы письма византийского, темные от древности, от испытаний нашествиями и пожарами, русские иконы, старые и новехонькие. Все невелики. То ли чтоб уместилось больше, то ли чтоб один лик не заслонял других. В келии для Макария государь потрогал постель, поводит рукою у окошка – не дует ли, потрогал изумрудную от изразцов печь.

– Еле теплая! Где истопник? – нагнулся, отворил дверцу, бронзовой кочергой в виде грифона потыкал в угли.

Тотчас прибежал чернец-истопник с охалкою дров. Сунул в печь толстенное полено и получил от государя взашей:

– Мозги-то есть у тебя? Когда все это разгорится?!

Опустился на корточки, взял самое малое поленце, почти щепку, положил в жар, подождал. Сухое дерево податливо вспыхнуло, Алексей Михайлович просиял, погладил монаха по плечу и показал на пламя:

– Видишь? Ты, святой отец, уж будь милостив, постарайся. Кир кир Макарий приехал к нам из теплых стран. Да ты благословись, дурак, благословись! Восточный патриарх перед тобою!

И сам первый встал на колени, поклонился Макарию до земли.

У Макария дух перехватывало. Государь такой великой земли – и такое смирение!  
Но все чудеса были впереди!

Начались они с приглашения святейшего гостя на трапезу. За столами в трапезной сидели монахи, и царь в легком домашнем платье обносил монахов кушаньями: стерляжьей ушкой, ставя тарелку на двоих, судаками с печеными яблоками и каждому в руки – пирог с визигой и кружку коричневого пива.

– Кир кир Макарий, – обратился государь к гостю, – благослови пищу Христова стада. Из пяти Христовых хлебов да из пяти рыб – всем, слава Богу, достается по хлебу и по рыбе. Да не оставит Господь нас, грешных, и в иные дни.

Попотчевав братию, Алексей Михайлович, взявши за руки Макария, повел его к своему столу. За дальние столы сели бояре, а за ближний посадили нищих, увечных, слепых, дряхлых от старости.

Макарий прочитал молитву по-арабски и по-славянски. Трапеза началась. Прежде всего государь обнес нищих едою и питьем, иных целуя, иных глядя, иным говоря ласковое слово.

Севши наконец за стол, с удовольствием, жмуря глаза, похлебал ухи и, хрумкая жареными рыбьими плавниками, спросил Макария:

– Высок ли, владыко, столб Симеона, на котором он спасался от суеты мира?<sup>46</sup>

– Каков был столб, нам, грешным, неведомо, – чуть запинаясь, переводил ответ патриарха его сын, архидиако́н Павел. – Землетрясения и время оставили нам лишь малую часть столба. Но ныне эта святыня в безопасности. Она в центре великого и прекрасного храма.

– Да! Да! Мне говорили! – закивал, заулыбался Алексей Михайлович. – Калат-Семан на высокой горе, и на все четыре стороны от него простор, осененный святой благодатью.

– Места в том краю каменистые. – Стеснительная улыбка тронула темное лицо Макария. – Но там спокойно. Пастухи пасут овец. Там так тихо, что Бог слышит человека. Там хочется взять посох в руки и брести за овцами.

– И невзначай взойти на небо, – сказал Алексей Михайлович.

Макарий, подняв брови, глянул на сына Павла, тот все понял, вышел из-за стола и принес четыре совсем малые шкатулки. Макарий поклонился Алексею Михайловичу:

– Прими, великий государь, то малое, что у нас осталось, но чего дороже для нас в целом мире нет.

В шкатулках была земля из Вифлеема, Иерусалима, с берегов святой реки Иордан и белый камешек – частица столпа Симеона Алеппского.

Таких шкатулок антиохийцы везли целый сундук. Дарили святую землю, святые камни молдавским и валахским сановникам, дарили московским боярам и малую часть берегли на обратную дорогу.

Алексей Михайлович разглядывал землю с любопытством, брал на ладонь, ощупывал пальцами. Руки потом отер о голову.

– Одно бы ногой постоять на вашей земле, где всякий росток и побег напоен святой силой! – И вдруг сказал Макарию: – Я знаю, что от престола своего ты отъехал огорченный

---

<sup>46</sup> ...столб Симеона, на котором он спасался от суеты мира? – Симеон Столпник (356–459), замечательный христианский аскет. Восемнадцати лет ушел из дома, постригся в монахи. Испробовал разные формы аскетической жизни: делал себе пояс из древесных ветвей, которые нещадно впивались в тело, жил на дне высохшего озера, потом в уединенной хижине у подножия горы, потом – на самом вершине горы. С 423 г. придумал тот род подвижничества, который называется столпничеством. Он поставил в окрестностях Антиохии столб, твердо укрепленный в основании, а на вершине имевший площадку для стояния и сидения. На некотором расстоянии столб окружала стена, за которую никто не имел права входить. С площадки Симеон Столпник говорил с проходящими. На том столбе он подвизался около 40 лет, предаваясь неустанной молитве.

злом, которое причинил твоей святости митрополит Миры. Это за все-то твои благодеяния, которыми ты осыпал его!

Антиохийцы были поражены: царь знал о них много больше, чем они предполагали.

Знал государь: Митрофан, митрополит города Миры, вопреки запрещению Макария, пожаловался правителю Абширу-паше на паству, которая задолжала церкви шесть тысяч пиастров. Паша выколол деньги палками и взял себе.

Макарий за непослушание и за пьянство собирался лишить Митрофана сана, но тот поклялся перед жителями города, что отказывается от вина, а на Макария перед турками возвел поклеп.

– Почему ты, святейший, не сообщил мне о злых кознях своего митрополита? – спросил Алексей Михайлович патриарха.

Тот изумился:

– Разве у великого государя своих забот мало? Наши дела перед твоими – как муравей перед человеком!

– О нет! – возразил царь. – Дела Церкви много выше и важнее мирских забот. Как единый час предстоит пред вечностью, так и суeta житейская предстоит перед парением духа. О батюшка! Будь спокоен и не огорчайся, ибо хотя я и здесь, но мышца Господня, далеко достигающая, и моя рука достанут врага твоего и накажут, где бы он ни был.

Сказано было негромко, но такая тайна и такая сила стояли за этими нешумными словами, что по спине архидиакона Павла мурашки побежали.

Решив, что минута самая подходящая, патриарх Макарий подал государю сразу пять челобитных. Просил для себя митру и облачение, а для антиохийских храмов паникадило из меди за сто двадцать динаров – деньги считал по-своему – и еще три паникадила за сто динаров; просил рыбий зуб, слюду, хрустальный камень; просил икон и белок.

Государь челобитные взял, но читать при просителе не стал.

– Когда будешь, святой отец, на отпуске в свою прекрасную и драгоценную Антиохию, тогда и порешим все дела.

Сердца антиохийцев обрадовались: если царь заговорил об отпуске, значит, долго держать не будут.

После обеда русские люди спали. И государь спал, и монахи спали. А пробудились и – молиться. Тут уж часов не считают.

Отстояли малое повечерие, и гости наконец были отведены в их палаты и оставлены в покое.

Натопленные комнаты благоухали анисом, и жара не казалась утомительной.

Отец и сын, измученные службой – на Востоке Богу молятся сидя, – заснуть, однако, не могли. Всякий день русской жизни был им в удивление. Перебирая четки, Макарий говорил сыну:

– Не только в нашей знойной земле, но и в Европе принято тиранов почитать за сильных государей. Но богатства тиранов – от грабежей, а то, что принимается за порядок, – ужас перед доносчиками и палачами... У русских все иное. Покой у них – от силы и нрава народа.

– Может, наоборот? – возразил сын. – От нрава государя. У них ведь был Иван Грозный. Головы тогда сыпались, как переспелый инжир осыпается в бурю со смокв.

– И в добрых семьях рождаются злые дети... Ах, если бы строй и дух русской жизни был бы рассеян по земле и дал плоды... Но увы! Свое мало ценят. И я вижу, как бояре да и сам государь тянутся к иноземному.

– Пока мир будет перенимать из русской жизни, русские уж будут сами не свои! – засмеялся Павел.

– Все это наши домыслы.

– Нам бы толику от их казны. Не дадут – и мусульманское море поглотит христианские острова Востока. Вот о чем, отец, говори государю.

– Я говорил.

– Еще говори!

– У царя Алексея в обычае молчать, а потом делать так, как ему внушат.

В печи тонко, чисто запел, угасая, уголек. Павел вздрогнул, и сердце у него облилось нежностью и тоскою.

– Отец, а ведь у нас всюду инжир убирают. Боже! Как же сладко сейчас пахнет родная земля. Отец, да ты плачешь! Прости необузданность мою и слабomyслие!

– О Павел, Павел! Ты сокровенное разворошил. Дадут ли на наше нищенство, нет ли? Но мы еще по зимним дорогам, навстречу летящим птицам, наверное, и вернемся. Как подумаешь об обратной дороге – сердце останавливается. Казаки, татары, валахи, турки, венецианцы. Все воюют! Всем тесно! Всем мало!

Они долго еще не спали, хоть и молчали. Дрема сморила их, зыбкая, сладкая, спать бы и спать, но ударили колокола.

В третьем часу монахи и царь со свитою уж были в соборе Рождества Пресвятой Богородицы, приготавливая душу к всенощному бдению. Антиохийцы припоздали. Царь глянул на Павла строго и едва заметно покачал головой.

Монахи торопливо постелили возле раки святого Саввы подстилку из соболей и дорогой восточный ковер. Царь стал на соболя, патриарха Макария водрузили на ковер.

Служба была полной, долгой. У архидиакона Павла дрожали ноги, и он со страхом поглядывал, как горбится и сникает его старик отец: «Не упал бы!» Вот и последние молитвы, последние гласы, теперь спать, спать... Но по приказу государя монахи принесли два кресла, для Алексея Михайловича и Макария, сами сели на лавки вдоль стен.

Псаломщик, поменяв на аналое свечу, открыл книгу, чтобы читать жития святых.

Перекрестясь, поклонился настоятелю монастыря, произнося обычное:

– Благослови, отче!

– Мужик! – закричал государь, вскакивая и устремляясь к псаломщику. – Медведь дремучий! Осыпал!

Ухватив псаломщика за шиворот, повернул лицом в сторону патриарха.

– «Благослови, владыко!» – вот что надо при патриархе говорить, дурак непутевый, «благослови, владыко!».

Псаломщик, дрожа, рухнул на колени:

– Господи! Государь, прости меня Христа ради!

– Бог тебя простит! – сказал Алексей Михайлович, совершенно успокаиваясь. – Читай. Слушаем.

Боясь оплошности, глазам своим не веря, псаломщик принялся читать книгу, водя по строкам пальцем. Житие Саввы Сторожевского повествовало о чудодейственной целительной силе, проистекавшей от гроба преподобного. Игумена Савву, который «есть воистину Божественного света светило незаходящее, чудес лучами всех просвещающе», чудотворцем нарекли уже в грамоте великого князя Василия Васильевича в 1539 году. Чуть позже чудесным образом была написана икона святого. Игумену Саввинской обители Дионисию явился однажды во сне старец и сказал: «Дионисий! Вставай и напиши лик мой на иконе. Я есть Савва, начальник здешних мест!»

После Саввиного жития было прочтено житие Илии Муромца Чоботка. Уроженец города Муром Илия верой и правдой служил святому князю Владимиру. Скончался он, сложив персты правой руки для молитвы по греческому обряду: три первые перста вместе, а два последних пригнув к ладони.

– Вон оно когда Бог на троеперстие указал Русской земле! – воскликнул Алексей Михайлович, наклоняясь к вздремнувшему и вздрогнувшему патриарху Макарию. – Самый большой русский богатырь крестился, как Восток учит. С Востока Божественная правда, и лучшим русским людям она ведома. Спасибо святейшему Никону – на путь истины, на путь спасения наставил Христово свое стадо. Да молятся о нас святые наши угодники перед Престолом Господним.

Алексей Михайлович взял Макария за руку и подвел к раке Саввы. Монахи тотчас уловили желание царя, открыли раку, и мощи были представлены Антиохийскому патриарху на особо доверительное поклонение.

– Я мощи-то сам из земли вынимал. – Государь совсем по-свойски развернул мумифицированный череп святого. – Гляжу, коренного зуба нет. Туда, сюда, всю могилу облазил. Вот он, зубок-то! Я его сам нашел, себе на спасение. Заболели в тот день у меня зубы. Хоть белугой реви. Тащить страшно, лекари мои заморские в Москве. Так я взял этот зуб да и потер больное место. И – ни боли, ни изъяна в зубу.

Приложился к мощам, поглядел на Павла, стоявшего в отдалении, поманил к себе:

– Приложись. И у тебя ведь небось не все-то слава Богу, а будет все по-божески.

Тут к государю, набравшись духу, подошел и пал в ноги высокий, с измученным лицом чернец.

– О чем просишь? – пожаловал его царским вниманием Алексей Михайлович.

– Великий государь и заступник наш! Был я патриаршим дьяконом. Совсем за малую провинность святейший патриарх Никон запретил мне служить, назначив заточение в твоём Саввином монастыре. Дозволь, государь, завтра службу служить.

– Нет, милый человек, не могу тебе разрешить того, чего ты желаешь всей душой. Осердить боюсь грозного патриарха. Уж на что сам-то я гневом распаляюсь, кулаками вас потчую, а Никон и того пуще во гневе. Я тебя помилую своей волей, а он-то, патриарх наш, всучит мне свой посох, да и скажет: встречаешь в мои дела, вот и паси сам монахов да священников. Прости меня, чернец, не могу я прекословить власти патриарха в его патриаршей вотчине.

Монах, сокрушенно вздыхая, согласился, и Алексей Михайлович тоже повздыхал, желая и не умея помочь бедняге.

После молитвенных трудов был отдых и великолепный обед в узком кругу в покоях государя. Объявили об отъезде, но напоследок антиохийцев поджидало нешуточное испытание для их глаз, обоняния и нервов.

Государь привел Макария и Павла в деревянный, длинный, как конюшня, дом и сказал на пороге, отряхая снег с ног:

– Благослови, владыко, братьев Христовых.

Служка отворил государю и его гостям дверь, и жуткий запах больного человеческого тела обнял их насмерть.

Света было немного, но услужливый монах зажег три свечи в канделябре, и государь, стоя у порога, перекрестился, поглядывая на патриарха, ожидая его молитвы.

Три ряда уходящих вдаль немыслимо грязных постелей, и на каждой по человеку, а то и по два, больных неведомо чем.

– Господи, прости нас! – сказал Алексей Михайлович, терпеливо выслушав запинаящуюся на каждом слове молитву Макария.

И обнялся с первым же старцем, целуя его в голову, в уста, в руки и даря толикой денег, завернутых в бумагу. Ни единого не миновал, как бы хвор ни был человек.

На улицу вышел, утирая слезы, показал на сруб:

– Новую обитель для миленьких строю. В старой уж больно дух тяжел, ничем его не вытравишь. Лучше разобрать да сжечь.

Как царь в Москве – колоколам веселье. То одно великое шествие, то другое. Вернулся с антиохийским патриархом из Савво-Сторожевского монастыря – звоны. Ходил за двадцать верст от Москвы встречать Никона – звоны. Через три дня – еще один всенародный праздник: прибыл крест из Честного Древа, взятый бедным Василием Васильевичем Бутурлиным в Люблине. Крест с палец, коробка для него из серебра и хрусталя с книгу, а радости на каждого молящегося хватило. Государь не только вспомнил о Бутурлине, но приказал самым расторопным своим людям тотчас мчаться в Киев и везти гроб в Чудов монастырь без мешканья, не то... Тут уж самодержец Алексей недоговаривал, но слова его ныне и впрямь боялись.

Возмужал государь. Богу служит не хуже монаха, но царские дела блюдет. Рассказывали, что некий хваткий дворянин явился на службу без ратников, сказал, что моровая язва всех его мужиков, пригодных для ратного строя, забрала на тот свет. Государь ту сказку выслушал и вроде бы принял за правду, но тайные его люди поехали в волость дворянина и узнали: мужики дали своему господину денег и откупились от войны. Полетела голова хитреца без долгих затей. Когда государь броню примеривает да железную шапку – не до шуток. Слово сказано – дело сделано.

В феврале через Москву потянулись обозы на запад. Везли мороженые, разрубленные надвое свиные туши, кули с мукой, с крупами. А потом повезли ратников, что ни день, новый обоз, да какой! Голова обоза уж за горизонтом, а хвост еще из ворот не вышел.

Войну в России готовили по зимним дорогам.

Однажды, когда царь отправился на очередное богомолье, Никон пригласил Макария к себе и показал ему из окошка готовый к отправке санный поезд. Сани были загружены ящиками.

– Это ружья, которые я загодя купил у шведского короля. Пятьдесят тысяч ружей. У нас и своих много – в Оружейной палате в год изготавливают по семьдесят тысяч, да еще из франкских земель покупаем. Англичане три пушки прислали. Палят с дымом, а без грома. Пойдем глядеть, как мастера ружья на крепость пробуют.

На склоне Кремлевского холма на холстинах лежало множество ружей. Мастера набивали в стволы пороху и потом длинным, накалившимся добела железным прутком зажигали на полке затравку. Ружье, выкатив из жерла огонь и грохот, привскакивало, как живое. Иные ружья разрывало на куски.

– И это тоже мой дар государю, – сказал Никон.

Патриарх Макарий покорно смотрел на все, что ему показывали, и восхищался всем, что восхищало Никона, но в тот день над Кремлевским холмом небо развесенилось, грачи, прилетевшие из-за моря, раскричались, и Макарий заплакал вдруг.

– Что с тобою, владыко?! – удивился Никон.

– Не знаю, – потряс головой Макарий. – Видно, с крыльев птиц повеяло запахом родной моей земли. Отпусти, патриарше! Сердце изнемогло от разлуки с домом. Не разбрелось ли Христово мое стадо, в то время как ем и пью на золоте, нищий духом – гуляю под золотыми куполами?

Никон быстро глянул на Макария, сощурил глаза, что-то быстро сообразив.

– Не печалуйся, владыко. Для такого святого человека, как ты, мой собинный друг казны не пожалеет. И я не пожалею. Потерпи уж совсем немного – выйдут недели через две ново-исправленные книги, утверди их своею подписью и поезжай с Богом. И молю тебя – утверди именем восточных патриархов троеперстие.

– Да как же я его могу утвердить? Грамотою?

– И грамотою. Но, главное, прокляни всех, кто молится двумя перстами. Как раз Неделя Православия подоспела.

– Год тому назад проклинали иконы, теперь – крестящихся не по-нашему. Не много ли проклятий?

– А русский человек иначе не почешется – долби не долби... Хорошо хоть, Бога боится. Будь милостив, прокляни ослушников – для их же спасения.

Макарий сложил руки на груди и поклонился Никону.

## 24

12 февраля – память любимейшей патриархом Никоном Иверской иконы Божией Матери, память митрополита Московского и всея России чудотворца Алексия, но оба эти больших праздника отступили в тень перед торжеством святого Мелетия, архиепископа Антиохийского. И не за-ради почтения к антиохийцу Макарию. Патриарх Никон шел священной войною на всех своих ослушников.

Троеперстие приживалось плохо. Прихожане во время службы забывались, осеняли себя по-старому, двумя перстами. А ведь у патриарха было еще множество прямых противников, дуроломов, упрямцев и всякого вражеского семени. И не на реке Саре, где шастал Неронов! Супротивники обитали даже в Чудовском кремлевском монастыре. Здесь-то и служил Никон службу в память Мелетия.

Служил, а сам поглядывал, как монахи пред лицом двух патриархов персты складывают. И видел Никон: один игумен молится, как указано, а все другие двумя, то ли в затмении душевном, то ли в бесстыдстве диавольском. Дотерпел Никон службу до конца. И после службы сам прочитал монахам житие святого Мелетия, который уж тем был свят, что рукополагал во диаконы святителя Василия Великого и крестил Иоанна Златоуста. А кроме того, был он в Константинополе председателем Второго Вселенского собора в 381 году, во времена византийского императора Феодосия Великого. Перед началом собора Мелетий поднял руку и показал три перста. Соединил два, один пригнул и, благословив святым крестным знамением народ, сказал: «Три ипостаси разумеем, о едином же существе беседуем». В тот же миг огонь осенил Мелетия и его истинные слова.

Прочитав житие, Никон обратился к Макарию и спросил его:

– Пастырь, посланный Богом от святынь Антиохии и всего Востока, вразуми нас, грешных, объясни, как понимать сказанное святым Мелетием и осененное небом.

Макарий поднял обе руки и сказал Никону и монахам:

– Я преемник и наследник престола святого Мелетия. Святой Мелетий показал: если три перста разлучены друг от друга, то и знамения нет. Кто тремя перстами на лице своем образ креста не образует, но творит двумя перстами, тот есть арменоподражатель. Если же ты считаешь себя за православного, то соедини три перста и твори крестное знамение, как указал святой Мелетий.

Московский патриарх остался не вполне доволен ученой речью Антиохийского владыки. Все это увещевание. Много ли в увещевании проку, если не страшно?

И Никон принялся готовить особую службу на Неделе Православия.

В первое воскресенье Великого поста в Успенском соборе не то что яблоко, орешек бы и то не сыскал места, где упасть.

Служба была и для московских кремлевских служб чрезмерно долгая. Вечную память пели не только павшим в боях на польской войне боярам и дворянам, но и всем ратникам. Из особых ящиков доставали записки с именами и зачитывали. Ни один из убитых за два военных года не был забыт.

После невыносимо долгого, но важного для всех русских и для их царя действия к молящимся из Царских врат вышли восточные иерархи: кир Макарий, патриарх великого града Антиохии и стран Киликии, Иверии, Сирии, Аравии и всего Востока, сербский митрополит Гавриил и никейский митрополит Григорий. Все трое, подняв десницы, сложили три перста, и Макарий сказал:

– Сими тремя первыми великими персты всякому православному христианину подобает изображать на лице своем крестное изображение, а кто будет творить знамение по ложному преданию, тот проклят есть!

Митрополиты повторили анафему, а Никон благословил паству и отпустил по домам.

Неспокойно стало в Москве. Подожгли дом священника – уж больно щепоть-то свою выставлял, молясь пред алтарем. Попугали монахинь Новодевичьего монастыря, их Никон из украинских монастырей напривозил. Драки были, всякое баловство.

Никона, впрочем, и пролитая кровь не смутила бы. Во что уверовал, тому и быть.

Не смутясь брожения в народе, презирая боярские толки, сам сочинил грамоту, которую и представил на подпись восточным иерархам:

«Предание прияхом от начала веры от святых апостол и святых отец и святых седмы Соборов, творити знамение Честного Креста тремя первыми персты десная руки, и кто от христиан православных не творит крест тако, по преданию восточные церкви, еже держа с начала веры даже до днесь, есть еретик и подражатель арменом. И сего ради имамы его отлученна от Отца и Сына и Святого Духа и проклята. Извещение истины подписах своею рукою».

И поставлены были четыре подписи: Макарий, Гавриил, Григорий и Гедеон.

Гедеон прибыл от молдавского господаря Георгия Стефана просить царя Алексея Михайловича о подданстве.

## 25

Никон пришел к государю, словно Бог его послал. Алексей Михайлович принимал второго логофета Молдавии Григория Нянюлу и не сдержался, покричал во гневе. Покричал, будто у себя на соколином дворе. Гнев был правый, но забываться перед заморскими послами – негоже.

Господарь Георгий Стефан, затеяв распрю с бывшим господарем Василием Лупу, соединил свои войска с поляками, погубил сына Хмельницкого Тимоша.

Не верил Алексей Михайлович ни Стефану, ни его послам, хотя те запаслись письмом от патриарха Иерусалимского, который молил Московского царя спасти христиан Молдавии от турецкой сабли.

Никон и восточные иерархи представили государю запись о троеперстии и, после малого вступленища, дали сказать Макарию, который принялся горячо молить государя заступиться за православие и за саму жизнь христиан Молдавии, спасти ее от мусульманского ига.

Алексей Михайлович растрогался, сменил гнев на милость и дал согласие принять в свое подданство Молдавское княжество.

За Георгием Стефаном царь утверждал пожизненное господарство и признавал право на господарский престол только для коренных жителей страны. В течение десяти лет Молдавия освобождалась от дани. Турки и татары подлежали изгнанию, от господаря же требовалось выступить с войском против турок и татар во время царских походов против оных.

Об одном вздыхал Алексей Михайлович:

– Далеко Молдавия! Пока войско дойдет до ее земель, турки да татары три раза ее сожгут.

## Глава третья

### 1

Никон, возвращаясь из хождения по монастырям и уже зная о скором отпуске Антиохийского патриарха, устроил в его честь пир и ради потехи пригласил на этот пир северных людей. То были ненцы, пришедшие в Москву, чтобы участвовать в государевом походе на его недругов.

С ног до головы в шкурах, на поясах ножи, за спинами луки, низкорослы, широки, ходят перекатываясь. Никон приметил, как его заморские гости прячут глаза, боясь лишний раз поглядеть на непривычные лица северян. Про себя посмеивался: «Жидковаты на расправу!»

Шепнул своему патриаршему боярину князю Дмитрию Мещерскому:

– А ну-ка, вели принести сырой рыбы.

Вышел из-за стола, стал спрашивать у ненцев об их житье-бытье.

Все гости тоже покинули свои столы и расположились вокруг Никона. Московский патриарх взял у одного воина лук, потянул за тетиву – зазвенела как струна.

– Из чего это сделано?

– Из жил, батюшка! – ответил ненец.

– Из чьих жил-то?

– Всякий жила хорошо! Олень, тюлень, большой рыба.

– Человечьи-то жилы хоть не берете?

– Берем, батюшка! Хороший жила! – радостно закивал головой ненец.

Никон подержал в руках кинжал, полюбовался резной рукоятью.

– Рыбья кость, – объяснил ненец. – Моя рыбу кушай.

– А где ж вы варите рыбу? Печей-то у вас нет.

– Зачем варить? – изумился ненец. – Ненец сырой рыба кушай.

– А чем еще питаетесь?

– Зверь кушай, птица кушай.

– А человека съедите?

– И человека кушай!

Ненец пошутил, но он был так искренен, так прост, что у архидиакона Павла засосало под ложечкой.

Никон поднял голову и оглядел своих гостей. У Павла предательски задрожали ресницы, и Никон тотчас подошел к нему и стал легонько подталкивать к ненцам:

– Съешьте этого!

Все смеялись, и ненцы смеялись, и Павел улыбнулся, но пот бисером выступил на его смуглом лице.

Никон оставил антиохийца в покое и шагнул к громадному, тучному архидiakону сербскому:

– Вот этот потолще будет, повкуснее.

Ненцы подскочили к бедняге со всех сторон, тот стал упираться, попробовал стряхнуть с себя людоедов – не тут-то было: одежды затрещали, лопнули, куча мала повалилась на пол, архидиакон заорал дурным голосом, и князь Мещерский тотчас спас его и сказал ненцам:

– Вот вам сырая рыба. Ешьте!

Рыбу принесли на огромных подносах и поставили на пол. Ненцы уселись на полу, достали ножи и, отрезая от рыбьих полоски, принялись за трапезу.

Никон смеялся от души испугу иноземцев. Сербский архидиакон за свои страхи и лишения был награжден деньгами, новой, очень дорогой одеждой и даже соболями.

Всем участвующим в застолье ненцы преподнесли резные изделия из драгоценного рыбьего зуба, всем, кроме сербского митрополита Гавриила.

Когда стали поднимать задравные чаши, Никон вдруг сказал Гавриилу:

– А ты, святой отец, ехал бы в Коломенское, к отцу Александру. Он сегодня служит раннюю, помоги ему.

И бесцеремонно выпроводил из-за стола.

Видно, Гавриил имел неосторожность посочувствовать коломенскому епископу. Никон на последнем соборе упразднил Коломенскую епархию, учредив вместо нее Вятскую.

Вятский край был велик и далек. Никон совершал благо для вятчей, но он отправлял туда епископа Александра, который привык быть возле царя.

Злые бесстрашные языки поговаривали: из корысти Никон затеял перемену, позарился на вотчины Коломенской епархии, на богатые приходы, на казну. Все ведь отписал на патриарха, себе самому.

За неделю до отпуска Макария на родину Никон повез его помолиться перед святынями Троице-Сергиева монастыря.

Много чему антиохийцы удивлялись в Русской земле. На этот раз поражены были жестокосердием Московского патриарха.

Гуляя по монастырю, Макарий услышал отчаянные стоны и призывы о помощи. В каменной келии с одним окошком, узким как бойница, были заперты три дьякона. В моровое поветрие у них умерли жены. Детей у каждого помногу, и они пренебрегли запретом, женились во второй раз. Суд Никона был скорым и ужасным: заковал греховодников в цепи и назначил им в наказание голодную смерть.

Сам Бог послал дьяконам Макария. Молили испросить для них у Никона разрешения постричься в монахи.

Никон не был на той прогулке с гостями, занимался делами самыми земными. Война и для монастырей бремя. Людей надо дать царю, оружие, деньги, хлеб. На Белоозере Никон посылал архимандрита Серапиона. Серапион подчистую вымел монастырские житницы. Из ржаной муки для государева запаса выпекли хлебы, из хлебов насушили сухарей. Из овса – толокно, из пшеницы – крупы. Все это было приказано доставить в Вязьму.

Воевода Замыцкий бил Никону челом, просил убавить поставку. Собрали по уезду с ворот по четверяку круп, толокна, сухарей. Набрали вдвое меньше, чем указано. Круп и толокна по сто четей, хлеба в сухарях триста четей. Везти государев запас тоже не на чем, с великой нуждой выколачивали у крестьян и монастырей подводы. Замыцкий Богом молил другую половину государева запаса не поставлять, голодно будет на Белом озере.

– Война жалости не ведает, – сказал Никон и поставку не отменил. Позволил, однако, половину запаса доставить водой, а другую половину – зимним путем.

После таких запросов просьба патриарха Макария о трех дьяконах была как пушинка, севшая на ладонь. Отпустили дьяконов на все четыре стороны.

Поворчал все же великий господин:

– Никон им строг! Не моего гнева надо страшиться, но Божьего! Геенна огненная времени не ведает.

Кто же любит, чтоб о нем плохо думали.

Вернувшись с Макарием в Москву, Никон повел антиохийцев в Благовещенскую церковь и показал все самые большие святыни: мощи Иоанна Крестителя, длань евангелиста Марка и пять его перстов, коими он начертал свое Евангелие; длани апостола Андрея Первозванного<sup>47</sup>,

---

<sup>47</sup> Андрей Первозванный – святой апостол, брат Петра, с которым занимался рыбной ловлей на Галилейском озере, когда

Иоанна Златоуста, святого царя Константина, главу Федора Стратилата, главу Григория Божьего, главу мученицы Евгении и главу мученика Христофора, похожую на собачью. Были и другие мощи: правая рука Феодосия Великого, нога святого Пимена, частицы мученицы Евгении...

Показали антиохийцам Ризу Спасителя. Открыли ковчег, позволили приложиться к святыне.

На площади Никон воздел руки к сияющим куполам Благовещенской церкви и погордился:

– Есть ли в целом мире такое чудо? Все крыши и все девять куполов из чистого золота в палец толщиной. И крест из чистого золота!

Обед Никон устроил тоже напоказ.

Пригласил юродивого Киприана. Кушанья подносил ему сам, с поклоном, питье подавал в серебряных кубках, то, что в кубках оставалось, допивал, крошки доедал.

Киприан сидел за патриаршим столом не робея. Как всегда голый, в железных веригах, глаза устремлены в свою огненную думу. Божий человек ни на один вопрос Никона не ответил, молча поел, попил, благословился у Макария и ушел, спасибо хозяину не сказав.

Никон, смущенный суровостью Киприана, гостей от себя не отпустил. Дал им с час отдохнуть в своей келье и повел в иконописные мастерские.

В своей книге о путешествии в Россию Павел Алеппский напишет: «Знай, что иконописцы в этом городе не имеют себе подобных на лице земли по своему искусству, тонкости кисти и навыку в мастерстве. Они изготавливают образки, восхищают сердце зрителя, где каждый святой или ангел бывает величиною с чечевичное зернышко или с османи<sup>48</sup>».

Не меньше, чем сами иконы, поразили антиохийцев живописцы-отроки. Большинство из них выполняли работу учеников, но были и такие, кто писал самостоятельно.

Меньшие дети Малаха из Рыженькой, Федотка и Егорка, так и загляделись на темноликого Макария. Они наловчились писать иконы вдвоем и писали икону Ильи Пророка в пустыне. Антиохийский патриарх был как само воплощение святых мест. Сердца живописцев трепетали, словно они на миг перенеслись в тот край, где совершал свои грозные подвиги неистово любящий Бога Илья<sup>49</sup>.

Иконы писали артельно. Подмастерья готовили доски и левкас<sup>50</sup>. Знаменщики прочерчивали контуры. Одни живописцы писали одежды, города, землю, другие – лики. Федотка и Егорка так быстро прошли все степени ученичества, что стали чудом артели, ее баловнями. Писали они иконы, исполняя все работы, от выбора доски до последней золотинки. Брали их иконы в царицын терем. Потому и воля им была особая.

Испрося позволения, Федотка и Егорка поднесли патриарху Макарию два образа: «Умиление» и «Святитель Петр Московский с клеймами жития».

Макарий благодарно подошел к месту, где трудились молодые живописцы, поглядел на пронизанную солнцем пустыню, на Илью с очами как молнии, благословил и одарил шкатулкой с землей Вифлеема.

– Рай! Рай! – говорил Макарий, покидая иконописцев.

А ему уже приготовили еще одну духовную радость.

---

Иисус призвал его следовать за Ним. По повествованию евангелиста Иоанна, он был одним из учеников Иоанна Крестителя и еще ранее своего брата был призван на Иордане Иисусом. Поэтому он носит имя Первозванного.

<sup>48</sup> Османи – мелкая, маленькая турецкая монета.

<sup>49</sup> ...словно они на миг перенеслись в тот край, где совершал свои грозные подвиги неистово любящий Бога Илья. – Илья (Илия) – пророк IX в. до н. э. из восточноиорданского местечка Фесва. Был наиболее ярким поборником веры в Ягве в борьбе против культа Ваала. Являлся грозным мстителем за попрание святыни, совершал много чудес, долженствовавших вразумить нечестивых.

<sup>50</sup> Левкас – у иконописцев: род жидкой шпаклевки, мел с клеем – для подготовки под краску и позолоту; грунт.

Во время вечерни в Успенском соборе Никон облачился в саккос святого Сергия, патриарха Константинополя, а Макария облачили в саккос святого Фотия, тоже константинопольского патриарха, но еще более знаменитого, учителя Кирилла, брата Мефодия, способника крещения Болгарии, стойкого борца с папами-католиками.

Реликвии соединяют времена. А когда эта реликвия на тебе и ты служишь Богу, как до тебя в той же вот ризе служил Богу восемьсот лет тому назад пастырь, могучий духом, то в тебе совершается обновление и душу твою пронзают молнии великого озарения.

## 2

За три дня до отпуска Макарий был у Алексея Михайловича в комнатах.

– Как горестно расставаться с тобой, святейший мой отец! – сказал царь через переводчика.

– Мне было покойно и благостно в твоей стране, великий государь! – ответил Макарий. – Но душа болит за паству, родина снится каждую ночь. Сегодня мне явилась оливковая ветвь, и на листьях ее роса. Душа тоскует и плачет по моему Халебу.

– Я сам тосклив, – признался государь. – Уйду из Москвы, а уж через неделю так бы и сбежал в свой терем...

Макарий решил, что минута самая верная, и попросил за сербского митрополита Гавриила – Никон всячески помыкает святым отцом, но отпустить не хочет.

– Обо всем-то ты печешься, всех жалеешь. – Государю нравились заступники. – Отпустим Гавриила. Завтра же и отпустим. Не то он проклинать нас будет, а нам его молитвы дороги.

(Государь слово исполнил. Отпустил сербского митрополита, Никона не спросясь. Пожаловал на дорогу четыре сорока соболей, четыреста ефимков и пять золотых грамот – хрисовул, дающих право их обладателям, монастырям, приезжать за милостыней.)

Алексею Михайловичу хотелось с восточным патриархом побеседовать об умном, об ученом, о Божественных тайнах, о вечности, но через переводчика говорить – все равно что через стену перекрикиваться.

У Макария тоже было много вопросов к государю, но задал он всего один.

– Я слышал такую историю, – сказал Макарий, – будто бы в Новгороде язычники посадили апостола Андрея Первозванного в раскаленную баню и стали поливать камни холодной водой, чтобы сжечь ученика Спасителя огненным паром. «Ах, я вспотел!» – молвил истязателям апостол Андрей, и это по-гречески звучит как «Россия». Откуда ли произошло наименование твоей великой страны, великий государь?

– Когда святой Андрей приходил в нашу землю, Новгорода еще не было, – ответил Алексей Михайлович. – Есть река Рось, но никто точно не знает, кто дал имя земле и народу. Одно скажу: наше это имя – русское, и наша эта земля – Русь. Будешь в своей стране, не забывай Русь, русских и меня, грешного, в своих молитвах. Всякое доброе слово нам в прибыль.

На отпуске государь был щедр и милостив. Было Макарию дано: пятьдесят сороков соболей, четыре тысячи белок, хрисовулы для монастыря Белеменд в Триполи, для монастыря Святого Георгия в Хмере, под Дамаском, и для Сиднайского монастыря. Рыбьего зуба подарили совсем немного, но другие просьбы исполнили. Вручили тридцать икон в позлащенных окладах, слюду, четыре медных паникадила. А вот митры и облачения государь не пожаловал.

Отвел Макария и толмача в сторону и наедине сказал:

– Прости нас, святейший! Не все даем, что ты просил, и не столь обильно, как бы нам этого хотелось. Я скоро выступаю в поход, а война, сам знаешь, – это пес, пожирающий людей и хлеб их, но более всего пожирающий деньги.

Макария до слез тронула сердечная откровенность Алексея Михайловича.

Дарами антиохийский патриарх был доволен. Иных искателей милостыни отпускали со столь малой казной, что не могли покрыть дорожных расходов. Полюбил царь темного лицом, да светлого душой патриарха, чья страна украшена святым преданием, подобно тому как земля украшена солнцем.

23 марта 1656 года антиохийский патриарх Макарий с большим обозом и с крепкой охраной отправился в обратную дорогу.

### 3

Боярыня Федосья Прокопьевна Морозова в карете, где прозрачного – стекла и хрустального камня – больше, чем непрозрачного – серебра, золоченого дерева, – на лошадях, от сбруи которых полыхало на всю Москву алмазной россыпью, с дворовою охраною в три сотни одетых как на праздник молодцов, катила к деверю в кремлевские его хоромы близ Чудова монастыря.

Дожди согнали снег, но развели такую грязь, что москвичи сидели по домам, не желая потонуть в лужах и грязи. Увязали так, что тащить приходилось – смех и грех!

Для шестерки, может быть, лучших в мире лошадей – уж у царя-то точно таких нет, – боярыня прокатила по Москве как по маслу. Торопилась Федосья Прокопьевна ради успокоения огорченного и разгневанного ближнего боярина Морозова. Она везла Борису Ивановичу боярскую шапку из лучшего баргузинского соболя. Состарясь, Морозов совсем погашал, слуги и домочадцы уж и позабыли, каким колесом крутились перед своим господином. И вспомнили. И батоги на конюшне были, и затрещины в людских. А от чистого, ясного, петушьего голоса, летевшего из господских комнат, весь дом цепенел.

Уж какое там спешно – опрومتью! – шили ферязь<sup>51</sup>, охлябень, шубу, шапку, штаны, сапоги и даже исподнее.

Шуба показалась боярину куцеватой, охлябень – затрапезным, ферязь – только в чулане сидеть. Шапка – крива, штаны – широки, на сапогах жемчугу мало.

– Одни исподники годятся, потому что никто их не увидит! – красный от досады, кричал Борис Иванович и сапожникам, и портным, и дворецкому. – Все переделать и перешить за ночь. Мне ведь одежонку обносить надо, чтоб колом-то не стояла! Обновой одни дураки похваляются!

Суматоха поднялась из-за того, что государь пожаловал своего воспитателя, указал ему в Вербное воскресенье водить Осю. То была высочайшая милость! Вести за узду с царем лошадь – значило изображать апостолов. На лошади, именуемой по-евангельски Ося, восседал, подобно Христу, патриарх. Вербное, или праздник Вайи, – это действие в память входа Иисуса Христа в Иерусалим.

Шапка, привезенная Федосьей Прокопьевной, так понравилась, что вся хандра сошла с Бориса Ивановича, и стал он по-прежнему ласков, спокоен и грустен.

– Последнее, знать, великое служение посылает мне, грешному, Спаситель наш.

– Отчего же последнее?! – отвела Федосья Прокопьевна, упаси Господи, вещие слова в сторону да за себя. – У государя дела нынче грозные да страшные, ему без добрых советников никак не обойтись.

– Наш царь враз одного слушает, а многих – нет. Было дело – меня слушал. Теперь слушает Никона.

– Слушал! Теперь не очень-то.

– Никон и сам столп. Не обойдешь, не объедешь.

---

<sup>51</sup> Ферязь – мужское длинное платье с длинными рукавами, без воротника.

– Бог с ними! – согласилась Федосья Прокопьевна. – Нам на тебя, Борис Иванович, будет дорого поглядеть с Красной площади. Люблю Вербное. Все веселы, все добры. Дети дивно поют. Вербка как невеста. Вся Москва тебе порадуется в воскресенье.

– Москва? Помню, как по-собачьи лаяла Москва-то, прося у царя моей головы. Ласковая твоя да веселая. Мне этой веселости до самого смертного часа не забыть. А для кого старался? Для кого рублишки в казну собирал? Не для народа ли московского в первую голову? Москвичи взалкали смерти моей. Как волки, Кремль окружили. Если бы не добрый наш государь – волчьей шерстью небось обросли бы. Уж щелкали-то зубами точно по-волчьи.

Федосья Прокопьевна сидела призадумавшись. И улыбнулась:

– А все же ты, Борис Иванович, любишь и москвичей и Москву. Столько серебра на паникадило отвалил – подумать страшно! Сто пудов! Сто пудов!

– Паникадило скоро готово будет. В Успенский собор вклад. Не ради Москвы и уж никак не ради москвичей. Это моя благодарственная молитва Богу! – Борис Иванович сдвинул брови, его даже передернуло. – Я москвичей за народ не держу! Народ – в Мурашкине моем, в Лыскове. В царевом Скопине, в Черкизове. В Москве – приживалы живут! Коты жирные! Все бы им блюда за хозяевами облизывать.

– Ты и впрямь не простил их! – удивилась Федосья Прокопьевна.

– И не прощу! Будь я возле царя, давно бы все жили в сыте, в силе, в славе! А меня от царя отринули. Проще говоря, пинка дали, да такого, что на Белоозеро улетел. Ни гроша Москве не оставлю. Ни единого гроша.

Вербное воскресенье пришлось на 30 марта. Погода установилась, ручьи обмелели, поджались лужи, грязь обветрилась, затвердела. Вся Москва притекла на Красную площадь.

Вербка, установленная в санях, была на диво юная, пушинками своими светила нежно, по-девичьи. Деревце обвешали связками изюма, яблоками, леденцами, а все же не затмили, не испортили ее красоты.

Борис Иванович Морозов вел Ослю, столь углубясь в действо и в себя самого, что Москва залюбовалась его сановитостью, его поступью. Признала умнейшим из всех, кто возле царя.

– Борис Иванович никогда дурного не сделает, – говорили охочие до разговоров москвичи. – Надежда наша.

– Надежда наша князь Черкасский, – поправляли люди сведущие. – Царь на войну собирается.

#### 4

Весна хватала царя Алексея под мышки, распирала ему грудь, и, не умея наяву, он летал во сне.

Весною в кремлевском терему Алексею Михайловичу становилось тесно и он перебирался всем своим многолюдным домом в Коломенское. Темные коломенские дубы на пылающем мартовском снегу тоже теряли спокойствие, тянулись и дотягивались до самого неба, раздвигали кронами непогоду. Малые небесные оконца голубого да синего ущемляли Алексея Михайловича за самое сокровенное ядрышко, что и было его жизнью.

По утрам, после молитв и службы, его тянуло к оврагу слушать, как под снегами пробуждаются вешние воды. Он припадал ухом к деревьям, замирая и затаивая дыхание, чтоб услышать, как бьются под корою токи жизни. И в себе он чувствовал призыв жить во всю мочь. Нетерпение срывало с его языка неосторожные слова, все помыслы его были опасными.

Отпустив прибывших спозаранок князя Никиту Ивановича Одоевского, Василия Борисовича Шереметева, Григория Гавриловича Пушкина и дядка Алмаза Иванова с похвалою, царь кинулся в покои Марии Ильиничны поделиться новостью.

В царицыной палате стояло солнце, и государыня занималась, может, самым лучшим делом на свете – радовала потягушенками дочку Аннушку. И это приятствие с нею делил толстощекий сияющеглазый царевич Алексеюшка.

Царь как увидел сына, так и забыл про государский свой хомут. Подхватил на руки, утопил личиком в мягкой своей бороде, и тот, хохоча от счастья очутиться столь высоко над полом в мужских жестких руках, от ласковой щекотки, от красоты отца, от кровной близости, от сыновней, уму неподвластной любви, обхватил ручками отца, сколь хватало размаху в плечиках, и так приник теплым, родным тельцем, что царь Алексей обомлел в ответной ласке.

– Царевич ты мой! Веточка ты моя!

– Не больно прижимай! Опысает! – сказала царевичева мамка.

– Не говори зря! – обиделась за сына Мария Ильинична. – Он с восьми месяцев просится. И ночью грех с ним случается редко. Уж если когда заспится чересчур сладко.

Царь Алексей грозно зыркнул глазами на мамку царевича, и все женщины, кроме Марии Ильиничны, заспеша по делам, удалились из комнаты.

– Квохи! – засмеялся царь, ужасно довольный, что не только слова, но и взгляда его боятся. – Ишь квохи!

Это он сказал уже царевичу и щекотнул ему шейку бороною. Царевич залился смехом, как колокольчик.

– Все, Ильинична! Не боли моя голова от посольского мудрования! Ополчаюсь на шведского короля. Князь Одоевский написал ему целый короб укоризн.

– Что же это за укоризны?

– Хо-о-орошие укоризны! – рассмеялся царь. – За то, что пошел их величество на польские города войной, у моего царского величества не спросясь, и за то, что титул мой ломают из упрямства, пропуская в нем Богом данное. Умаление титула – это умаление святоотеческих границ. Война шведу! Война!

– Опять на целый год уедешь.

– Ильинична! Быть бы с победою, на коне. Для него ведь стараюсь! – подкинул царевича в воздух, еще раз подкинул.

– Не урони!

– Как я его уроню. Мне его уронить нельзя. В нем вся моя суть, вся жизнь.

– Ты посади его лучше к Аннушке. Они так презабавно играют.

Мария Ильинична подперла рукою щеку, огорченная известием о новой войне, хотя и знала, что этой войны Алексей Михайлович желает...

– Два года, а по виду и весу все четыре – тяжелющий!

От счастливого царя-отца пышело радостью, как теплом от печи.

– Голова большая! В тебя умный.

– Да уж не дурак!

Сел, обнял Марию Ильиничну за плечи:

– Милая ты моя! Я ведь все, что свершаю, для христианского преславного люда, для сына моего, для России-матушки. Ныне христоробец Восток под басурманами плачет, а я его вызволю, если Бог даст! – Перекрестился. – О Господи! Пошли мне Свое благоволение! Вон молдаване сами под руку мою с надеждою и со слезами испросились, на Украину глядя. Украине нынче мир и покой от моей десницы. И всем будет мир и покой. Поляки тоже меня в цари желают. Наподдам шведам, чтоб без спросу городов не брали, и Варяжское море – мое! Ильинична! Ни у кого такой просторной державы нету, как у нас с тобою. В Сибири земли столько, что никто и не сосчитает ни рек, ни народов, ни верст. Считают, считают, да со счету и слетят. Вот он я у тебя какой!

– Да уж такой! – Мария Ильинична припала бархатной, молочной белизны щекою к щеке Алексея и тотчас запылала розово, любя и желая желанного.

Поцеловал государь государыню в жаркую щечку, поцеловал таращившую глазки Аннушку, наследнику темечко облобызал и, словно бурей подхваченный, умчался.

Царя ждали Семен Лукьянович Стрешнев и братья Морозовы. Стрешнев привез отписку стольника, воеводы города Друи Афанасия Ордина-Нащокина. Через его город в Вену к императору Фердинанду III уж несколько раз проехало посольство Аллегрети, хлопотать, как это казалось Алексею Михайловичу, о его царского величества восшествии на престол Речи Посполитой.

Ордин-Нащокин в отписке всячески поносил шведов, которые то и дело нападают и грабят принадлежащие его царскому величеству литовские города, и пересказывал слухи, будто шведский король договаривается с Яном Казимиром сложиться силами и пойти войною на московского царя.

Представил Стрешнев еще и расспросные речи одного хваткого человека, бежавшего с турецкой галеры в Венецию и прошедшего многие страны и города. Человек этот сообщил, что в Риме слышал от людей почтенных и владетельных, будто папа римский просил цесаря послать Яну Казимиру войско, чтоб отбиться от московского царя. Войско это собирается в Вене... Казаки города Журавны написали письмо гетману Сапеге, просятся из-под государевой руки обратно под руку короля. Хваткий человек слышал, будто и сам Хмельницкий хочет быть за королем по-прежнему. На раде Хмельницкий и такое еще говорил: «Кто будет за царем, тому ходить пешим в лаптях и онучах, кто за крымским ханом – оденется в цветное платье, в сафьяновые сапоги и будет ездить на добром коне». На эти гетмановы слова казаки отвечали розно: те, которые по ту сторону Днепра, – добра хотят Польше, вместе с поляками и шведами хотят идти отбирать у царя и Хмеля украинские и литовские города, а те, которые по сю сторону Днепра, добра хотят великому государю и говорят, что хоть в лаптях, а умрут за государя, но под ляхов не пойдут.

– Лгут на Хмельницкого, – сказал Алексей Михайлович.

– Может, и лгут, – согласился Стрешнев с охотою и прибавил: – Город Львов гетман взять не захотел и Бутурлину не позволил.

– Я Хмельницкому верю! – посверкивая глазами, сказал Алексей Михайлович.

– А ты и верь! Верь, но поглядывай. Все эти речи про хана и поляков и про самого Хмельницкого – со слов людей Золотаренко, а Золотаренко шурин гетману. Может, и малая, но правда тут есть.

– Получу польскую корону из рук поляков, тогда и глядеть буду на малое, на большое, на всякое.

– А я знаешь какую новость слышал? – так же, как и племянник, посверкивая глазами, сказал Стрешнев. – В Польше уж есть новый король.

– Кто же?! – ахнул Алексей Михайлович.

– Матерь Божия!

– Что за еретичество?

– Почему еретичество? Как от Ченстоховского монастыря шведов отогнали, так настоятель Августин Кордецкий и объявил, что Матерь Божия есть первая заступница Польши. Ей и быть королевою.

Алексей Михайлович, стоявший во все время горячего разговора, сел на лавку, положил ногу на ногу, на коленку поставил локоть, подпер ладонью закручившуюся голову.

– До чего похожи племянник и дядя! – сказал вдруг Борис Иванович Морозов.

– Я лицом – в матушку. Та только уж больно черноброва была.

– Походить на матушку – к счастливой жизни, к удаче, к доброму сердцу, – быстро вставил свое словцо Глеб Иванович.

– Хорошо с вами, с родными для меня людьми, – сказал царь, вздыхая и потягиваясь. – Разобрать бы все дела-то по косточкам. Я, может, и впрямь чего-то недоглядываю. Да где там! Что ни день, сто новых забот.

И тут в комнату быстро вошел, кланяясь с порога, патриарший боярин, князь Дмитрий Мещерский.

– Его святейшество патриарх Никон прибыл к тебе, великий государь, для совета и тайного государственного дела.

– Тьфу ты! – в сердцах сплюнул Семен Лукьянович. – Будто боится царя с добрыми людьми наедине оставить. Тут как тут!

Алексей Михайлович с укором оглянулся на рассерженного дядю, но ничего ему не сказал.

## 5

Никон благословил подошедших к нему бояр тихим голосом, облобызался с царем, но сел на край лавки чуть не у порога.

– Отец мой! – так и подскочил Алексей Михайлович. – Будь милостив, садись за мой стол, чтоб всем нам досталось поровну от лицеизрения тебя и от твоей беседы.

Семена Лукьяновича передернуло, но смолчал.

Никон поднялся с лавки, постоял, опустив голову, и опять сел, не слушая царского предложения.

– Я просителем пришел к тебе нынче, великий государь. Сие место для меня, грешного, подобающе.

Алексей Михайлович подошел к патриарху, взял его за руки, поднял, провел к столу, усадил на свой стул, сам же сел на лавку между Морозовыми.

– Что за кручина такая приключилась, владыко?

– Поизрасходовался. На Крестовую палату, на ружья, на колокол. Совсем не на что строить Крестовый монастырь. Оставил бы строительство, да Бога боюсь. По обещанию строю.

– Много ли денег нужно?

– Много, государь. Десяти тысяч не хватит. Всякую палку морем надо возить.

– Я, святитель, сам знаешь, на шведа ополчаюсь.

Алексей Михайлович поскущел, призадумался.

Стрешнев, как хорошая лайка, наострил, ожидая только зова хозяина.

– Пять тысяч дам, – сказал государь, тяжело вздохнув, – шесть даже.

Семен Лукьянович зубами скрипнул.

– Болят, что ли? – спросил его царь участливо.

– Болят. Весь верх и весь низ.

– К доктору моему сходи!.. – И стал суетливым: встанет, сядет, то одно возьмет со стола, то другое. – Шесть тысяч наберу для твоего святого дела, отец мой... А ты, пожалуй, уступи мне пару сел, которые патриарх Иосиф купил в дом Пресвятые Богородицы. Стекановское и Дмитровское... Будь милостив, а я прибавлю с полтысячи.

Никон сдвинул на мгновение брови, глянул на непроницаемые лица бояр и тоже вздохнул:

– Деньги-то мне очень нужны. Пока не развезло дороги, отправить нужно многое... Села я тебе, великий государь, передаю хоть с завтрашнего дня. Видно, у тебя недостаток в землях. Щедр ты больно! Такие лакомые имения Потоцкому отписал!

– Может, и перехватил, – согласился Алексей Михайлович и вдруг рассердился. – Ты тоже хорош, друг мой собинный. Я хоть с землями к битому поляку прибежал, а ты с перекрещиванием. Макарий сто раз тебе толковал: католиков перекрещивать – грех!

На кончике Никонова носа взыграло красное пятнышко.

– Дело с Потоцким было решенное. Мы вместе о том говорили.

– Говорили. Но разве не вразумило тебя слово Макария... Ты в одно, что ли, ухо-то слушаешь, святой отец? На Богоявление ты как освящал воду?

– Как, как? Как Богом указано! – Никон стал лицом бел, а пятна красные сыпью пошли по щекам.

– Макарий велел два раза воду освящать, в церкви и на реке. А ты? Ты мужик, блядин сын, по-своему все делаешь! Своим умом горазд! А весь ум-то – во!

И царь постучал костяшками пальцев по столу.

– Опомнись – я тебе духовный отец.

– А по мне, лучше нет духовного отца, чем Макарий. Он лицом – темен, да умом – светел.

– Мне, патриарху, обидны твои слова, великий царь. Я блюду мою Церковь, как Бог мне велит.

– Мне, да мою, да я! – Алексей Михайлович кричал уже во все горло, – Ты делай так, как Восток указал. Как издревле шло, от самого Иисуса Христа... Эй! Кто там!

В комнату вбежал Ртищев.

– Пошли, Федор, за Макарием. Что глазами на меня лупаешь? Вернуть патриарха Макария в Москву тотчас! Пусть вразумит наших умников. До того умны стали, хоть плачь!

Патриарха Макария вернули из Болохова. Здесь его задержали Пасха и великие непролазные весенние грязи.

В Москве Макарию особенно не обрадовались, и никто толком ему не объяснил, какая нужда и чья воротила его с дороги.

Никон принял Макария чуть ли не через неделю после возвращения. Слез умильных, лобызая, не проливал, да и лобызал-то воздух. Объявил Макарию, что его присутствие необходимо для участия в Соборе. Собор Никону пришлось выдумать. Поднял уж давно решенный вопрос о крещении ляхов и про свои личные неприязни не забыл, вытянул на свет дело Неронова.

Беглеца сыскали в десяти верстах от Игнатьевской пустыни в Телепшинской пустыни. Патриаршие дети боярские подступили было к келье, где жил в молитве и посте инок Григорий, он же Иван Неронов, но были окружены очень сердитыми людьми, и не то что взять беглеца под стражу, сами еле отговорились и бежали прочь без памяти.

В вопросе о крещении папистов Макарий был непреклонен, второй раз крестить нельзя, и царь, согласный с ним, тотчас издал указ о запрете перекрещивания.

Неронова прокляли и отлучили от церкви вкупе с Павлом Коломенским. Заступников в Соборе у отлученных не нашлось. И отлучение благословил в ответном послании Никону Константинопольский патриарх Паисий. Но вот что было странно, отлучил он Павла с Иваном за сочинение литургии. О литургии этой никто ведать не ведал и слышать не слышал.

Алексей Михайлович косился на Никона – не оболгал ли собинный друг врагов своих перед Константинопольским патриархом? Косился, но промолчал: не хотелось распри затевать за неделю до похода. Никон сам перед Богом ответчик.

Вернулся государь с Собора к себе на Верх, а Мария Ильинична в слезах.

– Эх вы, проклинатели! Ни совести у вас, ни Бога в душе!

– Как так? – изумился словам жены Алексей Михайлович, слаб был к женским слезам. Женщины хоть тысячу раз не правы, а все себя виноватым чувствуешь. – Царицушка, опомнись! Милая! Утри скорее слезы.

– Помер епископ Павел. Говорят, сожгли его по тайному наущению Никона.

– Не может быть того, царицушка! Оговорили Никона. Я слышал, что Павел умом тронулся. Кто станет помешанного огнем жечь?

– Смерть Павла на Никоне. Но и на нас грех! Не заступаемся за любящих Бога!

Алексей Михайлович встал на колени и заплакал: много в его сердце горечи накопилось. Не убывает злобы в мире. Молишься, молишься – не убывает!

## 6

15 мая, как всегда на белом коне, сияя шлемом, убранным жемчугом, алмазами и белоснежным султаном, под колокола выступил царь на шведов.

Видом царь был грозен, а глазами улыбчив. Пушек много, солдат иноземного строя много, одних немецких командиров не пересчитать, полки новгородские, полки казаки... А самое приятное, такая большая, такая многолюдная война в казну даже не попнула. Обошлись денежным сбором: 25 копеек с двора, десятая часть с доходов и с имущества монастырей, архиерейских домов, десятая часть купеческих капиталов, налог с помещиков, не сумевших поставить нужное число ратников...

Последний пир в загородном дворце Никона, последнее благословение Антиохийского патриарха Макария, благословение и советы святейшего Никона, и – заклубилась пыль войны. Пошла толкотня, убийства, разорения. Вопли героев и вопли поверженных. И все обращали взоры к Богу: одни жить хотели, только бы жить, никому не мешая, другие хотели убивать и не быть убитыми. И все были правы.

Истина же стояла в стороне, роняя беззвучные свои слезы. Истина на всех одна, неделима. Об истине ведают, да знать ее не хотят.

## 7

Дворянин Ордин-Нащокин Афанасий Лаврентьевич, воевода города Друи, во сне увидал себя планетою Марсом. Взошел на серые небеса вроде бы и не ночью и воссиял.

О сне своем Афанасий Лаврентьевич рассказал сыну Воину.

Воин слушал отца, чуть подняв лицо и опустив глаза. Лицом он был тонок и бел. Бел до такой иневои голубизны, что женщины, при всей-то их звериной осторожности, останавливались, оборачивались. К такому лицу – черные волосы, борода и брови пепельные, глаза серые. Странное это было лицо. Воин хоть не желал себя иного, но на люди лишний раз не показывался. Женщина взглянет – мужчина зубами скрипнет. Охочих же сглазить на Руси всегда было много. Боялся Воин своей красоты.

– Что же ты молчишь? – Афанасий Лаврентьевич смотрел сыну в лицо, ожидая, когда тот поднимет ресницы. Их взгляды встретились наконец.

– Не знаю, отец. Сон пророчит великое, может быть.

– Но кому? С моим чином на порог не пустят, за которым дела-то великие решаются.

«Тебе! Тебе!» – Неприязнь и досада душили Воина: отец уж такой служака, того и гляди из кожи вылезет. Вслух сказал почтительно и робко:

– Не знаю, отец.

Теперь досада разобрала Афанасия Лаврентьевича:

– Привыкли, что один я у вас всему знаток. Тебе какой сон был?

– Мне?! – изумился Воин, он насупил брови и стал так красив, что отец головой покачал. – Я видел... Ах, вспомнил! Я видел двух кобылиц на желтом лугу.

Афанасий Лаврентьевич, растроганный смущением сына, подобрел, потеплел.

– Кобылицы – это что-то молодое. Но ты у меня молодец. Я доволен твоим старанием в службе. Тот, кто взялся служить государю, ничего иного, кроме службы, в уме держать не волен. Я бы свой сон под стражу взял, как смутьяна, да не ухватишь... Пора делами заняться, сын. Кто нам пишет и откуда?

Афанасий Лаврентьевич сел за воеводский стол, а Воин встал. Письмо, лежащее первым, он положил под стопу, но, уже читая царский указ за приписью дьяка Василия Брехова, передумал, вернул письмо наверх.

«Которые есть польские и литовские люди Браславского, и Кажинского, и Диноборгского, и иных поветов, – читал Воин, – которые приедут в Друю на вечную службу, велено тебе, воеводе, приводить к вере: белорусов – к Христовой, католиков и иных вер – по их вере».

– Кстати, как дела у Якуба Кунцеевича, ты проверял? – спросил Афанасий Лаврентьевич.

– Третьего дня у него было две с половиной сотни.

– Хорошо. Государя такое известие обрадует.

Воин придержал в руке положенное сверху и прочитал то, что было под ним, от герцога Курляндского.

«Чем это он терзается? – удивился Афанасий Лаврентьевич. – Огорчить меня не желает или хочет, чтобы некое дело сделалось наверняка? Верно, сын! Начальника нужно настраивать на дело, как настраивают на лад гусли».

Письмо герцога было поздравительным. Изъявлял удовольствие, что в Друю назначен воевода, имя которого пользуется доброй славой в порубежных с Россией городах.

Третье письмо тоже было заздравное: шляхта друйской округи благодарила Ордина-Нащокина за то, что унял грабежи, установил порядок и вернул спокойствие краю.

Воин решительно переложил неудобное письмо под стопу и зачитал грамотку стольника Смена Змеева о постройке ста двадцати судов смоленскими дворцовыми крестьянами на реках Каспле и Белой. Богдан Матвеевич Хитрово выдал из приказа Большой казны одну тысячу рублей, и дело пошло так споро, что все суда были уже готовы, и Змеев спрашивал, куда их перегонять и как спешно.

Были важные вести из-за рубежа. Польский король Ян Казимир искал оборону от шведов и нашел. Помощь ему обещал венгерский король Ракоци.

В свою очередь шведы тоже нашли себе помощника. Не известив государя, гетман Богдан Хмельницкий дал согласие оказывать Карлу X помощь, покуда Речь Посполитая не рассыплется в прах, и обещал послать под Краков Киевский полк Антона Ждановича. С Ракоци же у гетмана был особый, наитайнейший договор о разделе Польши. Венгрия после крушения Речи Посполитой получала Малую Польшу, Мазовию, Литву и Галицию. Шведская корона приобретала Великую Польшу и Западную Пруссию. Для себя гетман выговаривал княжеское звание, а для Малой России статус, подобный Курляндскому герцогству.

– Вот она, нынешняя государская честь! – Афанасий Лаврентьевич взял из рук сына донесение верного своего человека, перечитал. – Я рад за тебя, Воин. Ты с молодых лет познаешь темные чуланы власти. Золото, хоругви, колокола – все это для отвода глаз. Истина – в чуланах. И все же мерзость есть мерзость. Ты согласен со мной?

– Согласен, отец.

– А что ж тогда не краснеешь? И я не краснею. Привыкли к мерзостям. Знал бы ты, как я не терплю казаков, весь их род. – Афанасий Лаврентьевич спрятал тайный лист в сундук с тремя замками. – Природные изменники. В такой час, когда государь со всею силой ополчился на шведского короля, гетман обещает государеву врагу целый полк. Лучший полк! Не какой-нибудь Нежинский или Винницкий, но Киевский! – Покосился на письмо, которое вновь оказалось у сына в руках. – Однако что ты сам думаешь о столь наглom непослушании гетмана?

– Как мне сметь рассуждать о подобном, от моих рассуждений проку мало.

– Я хочу не увертки твои слышать, а мысли мужа...

– Прости, отец! Я думаю, гетман опасается, что государь в поисках польской короны может отступить от Украины.

Сказал твердо, ясно. У Афанасия Лаврентьевича даже дух захватило от такой-то правды. Что греха таить, струсил, но вида не подал, улыбнулся.

– Что ж, я опять доволен тобой. Слепые да глухие – плохие слуги. – И вскипел: – Что это за письмо, которым ты мне все глаза промозолил?

Воин густо покраснел, и было удивительно, что столь белое лицо может так меняться в цвете.

– Это из Пскова, от твоего человека.

– О чем?

– О деле Степана Бухвостова.

Теперь и у Афанасия Лаврентьевича щеки вспыхнули.

Стольник Бухвостов запятнал свою честь грабежом и гонением себежской шляхты. Ордин-Нащокин написал о бесчинствах стольника государю, и тот повелел посадить Степана в тюрьму.

Царь гневлив, да денежки милостивы. Псковские дьяки Меркурий Крылов да Максим Челищев государев указ попридержали у себя во Пскове, а потом и вовсе затеряли среди многих бумаг.

– Садись и пиши тотчас! – приказал сыну Афанасий Лаврентьевич, выходя из-за стола. – Господи, как же служить государю, когда кругом лихоимец на лихоимце? Когда уж царские указы крадут! Смелы нынче деньги. Вот какая у них власть! Царя ни во что не ставят.

Выхватил из рук Воина перо, макнул в каламарь и принялся строчить послание.

– «Чтоб до конца не разрушили твоего государева дела, – выкрикивал Афанасий Лаврентьевич и писал, писал, бормоча себе под нос, пока снова не переходил на крик – Вели меня и сынишку моего смертью казнить... Сильным и помощь большая, а мне места нет у твоего государева дела».

Ордин-Нащокин жалобщиком был профессиональным, но царю Алексею Михайловичу нравились письма верного слуги. Он и сам был готов пожаловаться на спесивых бояр, на алчных дьяков, на всеобщую дурь. Но кому?

– Царь знает все это, – сказал Афанасий Лаврентьевич, отложив законченное письмо и отирая платком пот со лба. – Вот ведь что страшно: много знает, да мало может. Царь – не Бог. Верю, придет время иных порядков, когда воров будут называть ворами, а дураков – дураками, когда слушать будут умных да ученых. Только нам-то куковать по-кукушечьи до конца наших дней придется... И не куковать нельзя.

## 8

Пора было идти к столу, за которым воеводу ждали его нахлебники. Воин поторопился показать отцу грамотку, требующую незамедлительного решения.

Минский воевода Федор Арсеньев сообщил о победе лихоимцев. Вина их была в том, что они грабили шляхту. Государь распорядился из сорока человек двадцать повесить. Сидельцы, не дожидаясь, когда их разберут, кому куда, подрывали тюрьму и бежали. Ушло тридцать человек, самых ярых. Всем воеводам приказано было без мешканья искать беглецов.

– К нам они не побегут, – сказал Воин. – Моровым поветрием с нашей стороны тянет.

– Думаешь, зараза страшнее палача? Человек от смерти к смерти бежит не задумываясь. Авось пронесет. И пронесит. С нынешнего дня надо удвоить посты и заставы. И довольно на сегодня. Гости ждут.

Воин участвовал во всех застольях, которые отец ценил как дело государственное и чрезвычайно важное.

– Ничто так не сближает людей, как еда из общего котла, – сказал он нравоучительно.

– Как же мне надоело выслушивать все эти умные глупости.

– Глупости, сын мой, говорят о людях много больше, чем их умности. Все эти люди отныне и во веки веков – подданные государя. Чтобы жить с ними в ладу, надо их знать и любить. Полюбим мы с тобой – полюбят их и государь.

Отец был прав, но Воину хотелось за иной стол.

– Батюшка! – взмолился он. – Дозволь мне посетить попа Григория. Я для его семейства дом сыскал. Пусть они все порадуются.

– Хвалю! – сказал отец. – Надо быть искусником, чтобы в разоренном городе дом найти. Никого не обидел?

– Нет, отец. Дом занимают две дряхлые старухи. Им нужен уход. К тому же поп избавит их от голода.

История попа Григория была трогательная и поучительная. Война сожгла его дом и лишила семьи. Попадью и шестерых детей как военную добычу увез Можайский дворянин Елагин. Поп Григорий искал защиты у Ордина-Нащокина и встретил доброе участие. По совету воеводы ударил челом государю, и государь приказал вернуть пленников. С государевым словом к Елагину прибыл строгий подьячий Томила Перфильев, и никаких препятствий попу чинить не посмели.

Вернувшись в Друю, отец Григорий с женою и чадами был устроен в доме вдовы Станислава Кунцеевича. Вдова вселению не обрадовалась, подала воеводе вежливый, но твердый протест: два старших поповича вошли в возраст, у вдовы же две дочери на выданье. Воин, разбирая дело, был в доме Кунцеевичей. Представленный вдовою ее дочерям Марысе и Власте и их госте из Риги Стелле фон Торн, принял дело так близко к сердцу, что решил его за три дня.

Воин слукавил, говоря отцу, что собирается обрадовать попа Григория. Семейство, не имевшее скарба, перебралось в дом старух еще вчера. Воин и перед Кунцеевичами собирался разыграть удивленного, но его приняли так ласково и с такой обаятельной светскостью, что лгать не пришлось.

Не было ни застолья, ни унижительных благодарностей. Провели в гостиную, пани Марыся от всех дам поцеловала его, и пошла беседа столь непривычная, столь откровенная...

– Скажите нам, пан Воин, – первой обратилась к нему кареглазая, смуглолицая пани Марыся, – чем русская жизнь отлична от нашей?

Рот у Марыси был большой, но не для того, чтобы испортить девичью красу. Зубы, как жемчужные орешки, один к одному, в глазах золотой рай.

– Чем отличается жизнь русских? – невольно переспросил Воин. Перед его глазами встали весенние московские улицы, ему пришлось весной отвозить государю важные и срочные известия. – В наших городах грязно, – сказал и покраснел. – У нас все из дерева. У крестьян чашки деревянные, ложки. Даже обувь! Все ведь ходят в лаптях из лыка. Я знаю, что иные бояре тоже любят лапти. Уезжают в свои деревни и ходят в лаптях.

– Наши крестьяне ничуть не лучше ваших, и я спрашиваю вас не о превосходстве одних перед другими, но о той сути, которая делает русских русскими.

– Можно подумать, что ты знаешь, отчего ты полька, а не турчанка? Отец с матерью поляки – вот и вся премудрость! – Пани Кунцеевич была явно недовольна дочерью.

– Да, мама! В этом все дело. Но моя польская суть проявилась бы, родись я хоть в Испании, хоть и в Туретчине.

– Марыся! – всплеснула руками Стелла фон Торн. – Какая же ты у нас умная. Я горю желанием услышать твоё рассуждение о поляках.

– Не о поляках, а о том, чем их – и никого другого! – наградила Бог.

– Чем же? Чем? – Стелла подливала огня в разговор.

– Гордыней, что ли? – спросила Власта.

Старшая дочь пани Кунцеевич была ничуть не похожа на сестру – светлая, пышная, с личиком улыбающейся лисицы.

– Вы принуждаете меня отвечать самой, а я хотела послушать нашего гостя. Он, кажется, не очень-то любит свое, русское, впрочем, как и мы, не знающие цены своему, польскому. Не гордыня, Власта, суть поляка. Его суть в отношении к окружающему миру. Мы для себя оставляем самую середину этого мира. Мы убеждены, что мир существует для нас. Нам так кажется. Окажись мы на двенадцатом кольце от центра, все равно будем убеждать себя, что это не мы вращаемся вокруг одиннадцати колец, но все они вокруг нас. – Указала на Воина. – Русские, надеюсь, думают прямо противоположное. Да нет! О чем это я! Для себя они жить не умеют и не хотят. Жить для всех, достигнуть Царствия Божия для всех, всех привести к Богу, всех заслонить от сатаны – вот их русская суть.

– Марыся, откуда в тебе это? – перепугалась пани Кунцеевич. – Простите ее, пан Воин. Это у нее от юности, от несовершенства ума и учения. Она у нас ужасная выдумщица.

– В словах Марыси много справедливого, – сказал Воин. – Боюсь только, что она думает о русских лучше, чем они есть на самом деле.

– Да разве это хорошо, что я сказала? – осердилась Марыся. – Хуже этого нет. За других думать, за других молиться, за других страдать, терпеть, умирать. А если я не желаю вашего рая? Зачем мне туда, если и вы там будете?

– Простите, пан Воин! – Пани Кунцеевич молитвенно сложила руки. – Ее отец погиб, сражаясь в войске Радзивилла, но ее дядя служит государю. Государь пожаловал ему чин полковника.

– Меня нисколько не обижают правдивые слова пани Марыси, – тихо сказал Воин. – Я и мой отец желаем мира Речи Посполитой. Речь Посполитая – великая держава, и все ее несчастья – наша боль.

– Пан Воин, какого числа вы родились? – неожиданно спросила Стелла фон Торн.

– Первого. Первого апреля.

– Замечательное число! И вы ему соответствуете в полной мере... Мой дворецкий занимается восточными науками. Он посвятил меня в тайны чисел, – пояснила она. – Единица – символ Солнца. Ошибаются те, кто думает, что не велика разница родиться первого или второго. Это уже два разных, бесконечно далеких друг от друга человека. Пан Воин, я расскажу вам о тех свойствах, которые обязательны для «единиц». Вы же чистосердечно сообщите нам, много ли ошибок в моих толкованиях. Итак! Вы упорны, строго придерживаетесь своих взглядов. Все свои начинания пытаетесь довести до конца. Вы во всем стремитесь быть ярким, все делать по-своему. Узда для вас – истинное мучение. Ваше честолюбие столь страстное, что оно приведет вас на большие высоты. Свои самые важные задумки и дела совершайте в дни единиц: первого, десятого, девятнадцатого, двадцать восьмого. Люди, удобные для вас, те, которые вас поймут и поддержат, рождены второго, четвертого, седьмого, одиннадцатого, тринадцатого, шестнадцатого и так далее. То есть двойки, четверки и семерки. Счастливые для вас дни – воскресенья и понедельники. Ваш камень – топаз, янтарь, желтый алмаз. Цвета ваши, пан Воин, золотые, желтые, бронзовые. Вы ведь – Солнце. Янтарь вам надо носить на теле. Одно мгновение, пан Воин! Закройте глаза! Дайте вашу руку. На счастье!

В его ладони лежал совершенной чистоты, налитанный светом янтарь.

Воин попытался возразить, но ему слова не дали сказать:

– Не беспокойтесь, пан Воин. По цене это сущий пустяк. Моя родина богата золотой смолой. Пусть этот наш камень пошлет вам добрые мысли и убережет от всего лихого в этом мире.

– Я приму ваш дар только в том случае, если вы примете мой. – Воин решительно снял с пальца перстень с сапфиром и положил на стол.

– Это несправедливо! – воскликнула Стелла фон Торн. – Ваш перстень – настоящая драгоценность... Что ж, я к моему янтарю присовокуплю трактат о знамениях. Правда, он на латыни.

– Я знаю латинский язык, – сказал Воин.

Беседа велась по-польски, и пани Кунцеевич тоже нашлась что спросить:

– Пан Воин, вы владеете польским языком лучше всех нас, где вы учились?

– Дома, – ответил Воин. – Мой отец, знающий счет деньгам, никогда не экономил на учителях. Я из-за этих превосходных учителей детства не знал.

В окна постучали, сначала тихо, потом настойчиво.

– Дождь! – жалобно вздохнула Власта. – Опять дождь.

– Пусть теперь все дожди высыпаятся, – сказала Стелла фон Торн, – лето будет жарче. Как же я люблю лето! Наше лето и наше море. У нас, пан Воин, море серебряное. Насколько глаз хватает – серебро! Серебро без границ. И берега у нашего моря тоже серебряные. Так домой хочется.

– Я помогу вам с проезжими грамотами, – пообещал Воин. – Если хотите домой, поторопитесь.

– Что-то должно произойти?

Воин про себя содрогнулся: так вот и выбалтывают государевы секреты.

– Моровое поветрие идет, – сказал он, проведя языком по высохшим губам. – Чума.

Дома Воин перекрестился на икону Спаса. Зарока давать не стал.

Но решил твердо: в гости к панночкам не хаживать. И не хаживал. На то и «единица» – человек воли твердой, ума ясного.

Обещание свое – дать Стелле фон Торн подорожную грамоту – сдержал, выпроводил ловкую даму из Друи. И вздохнул с облегчением: в Друю что ни день приходили обозы с удовольствием, с порохом, свинцом. Кузнецы перековывали лошадей. Пахло железом. Это был запах войны.

Воевода Ордин-Нащокин, предупреждая разведывательные наезды противника, в городке Кляшторе поселил опочечких и гдовских стрельцов. И по обоим берегам Двины поставил заставы и начал строительство небольших крепостей.

Крепости должны были успокоить и обмануть шведов: русские дальше не пойдут, русские строят оборону.

## 9

Государь с Дворовым своим полком шел на войну так быстро, как позволяли дороги да Господь Бог. По Русской земле весной не разбежишься, мимо монастырей с чудотворными иконами как пройдешь? Да и не таков был Алексей Михайлович, чтобы ради войны поломать величавое и вдохновенное течение жизни, заповеданное царями византийскими. Да и правилом святых отцов можно ли поступиться? А потому все священные праздники праздновались, все посты блюлись, и пиров в честь иноземных послов, в честь бояр и воевод не убывало.

17 мая в Савво-Сторожевском монастыре Алексей Михайлович молился, раздавал нищим милостыню, но дел своих государских тоже не забывал. На пиру во славу русского воинства пожаловал в окольничьи Никиту Михайловича Боборыкина.

19 мая царь пришел в Можайск, 20-го – в Ельню, 23-го – в Вязьму.

В Смоленске Алексей Михайлович остановился надолго, чтобы дать отдых полку, воеводам, а главное – чтоб очертя-то голову не кидаться неведомо куда и неведомо на кого. Победу Бог даст, но не раньше, чем ему, Господу, угодно.

31 мая на большом пиру по случаю приема курляндского посла Алексей Михайлович порадовал ближних людей и славных своих воевод царским награждением. Борису Ивановичу Морозову – золотая шуба, кубок и триста рублей к окладу, Илье Даниловичу Милославскому – золотая шуба, кубок и сто восемьдесят рублей, Глебу Ивановичу Морозову – золотая шуба, кубок и сто семьдесят рублей, Якову Куденетовичу Черкасскому, воеводе из самых грозных

и великих, – и шуба, и кубок, и деньгами двести рублей. Артамону Матвееву, полковнику и стрелецкому голове, царь пожаловал атлас и сотню рублей. Не забывал царь молодых. Артамон годен ко всякой службе: и на саблях с врагами рубиться, и о тайных делах государевых говорить с гетманами и князьями, и царю для царских дел его, когда молчанием, когда советом, быть полезным и нужным.

Последнее сочинение государево, к которому причастился Артамон, была роспись колокольного и прочего оповестительного ясака.

Один удар с большого набата тихим обычаем – весть о походе государя.

Беспрестанный набат, всполох – быть полковникам, чинам, стрельцам и всему войску в указанном месте в строю.

Затрубит сурна – стрелецкие головы спешают к государеву шатру.

Затрубят две сурны, в литавры ударят – смотр войску или государь куда-то идет. Стрелецкие головы спешают к шатру с четырьмя людьми.

Три выстрела из пищали у царского двора – победа.

Пять выстрелов – город сдался, восемь – взят с приступу. Пятнадцать выстрелов – большая победа.

Хорош был ясак, оставалось только города взять, чтоб народ громкою пальбой тешить.

В начале июня от Дементия Башмакова – стало быть, от самого государя – к воеводе Петру Потемкину на берега Ладожского озера приехал за тайными вестями Томила Перфильев. Воевода посылал в Швецию лазутчиков к православным людям. Православные люди сказали: «Иди скорее, царь русский! Торопись. Приходил к нам шведский генерал, многих вошедших в возраст мужчин забрал в солдаты. Ждем тебя, великий государь, с надеждой».

Вести ободрили и укрепили Алексея Михайловича. Поскакали от царя сеунчи ко всем воеводам: «Приспела пора. С Богом!»

20 июня выступил государь в поход на Ригу и 27-го был в Витебске, расположась в шатрах на берегу реки Двины.

Первым начал Петр Потемкин. Он осадил город Орешек, в котором сидело сто солдат шведов и сто солдат латышей. Приступ не удался, к тому же на помощь городу шел из Стокгольма, из Стекольной, как говорили русские, отряд ярла Роберта. Потемкин оставил под стенами Орешка капитана Якова Крести, а сам двинулся навстречу шведскому отряду и 29 июня в сражении на Ладоге разбил и пленил ярла Роберта. Осмелев от победы, Потемкин погрузил свое войско на ладьи и барки, вышел в Варяжское море и принялся сгонять шведские гарнизоны с островов.

Выходит, что и до Петра Великого бились русские на море и побеждали.

## 10

Отпустили наконец патриарха Макария из Москвы. Ехал он, торопя возниц, с оглядкой и вздохнул свободно только в Чигирине. Встречать патриарха Хмельницкий послал генерального писаря Ивана Выговского и сына Юрия. Гетман был нездоров, патриарха он принял на другой день в своих покоях.

Богдан принял благословение и тотчас сел.

Через смуглоту лица проступала бледность, глаза запали, в глазах то покой и мудрость, а то вдруг тоска и вопрошение. Признался Макарию:

– Кабы знал, что народ мой устроение и успокоение получил, крепкое, вечное, с тобой бы поехал. Поставил бы столб – и молись Богу перед небом и землей, сам за себя в ответе. Нет же, нет! Не пускают грехи грешника в рай. И народ не устроен, и дом мой ненадежен. Тимоша Бог взял, а за Юрко сердце болит. Ласковый он человек, и мне за него страшно. В книжных премудростях зело силен, но в человеческой науке слаб. Врагу душу откроет, друга

за порог выставит. – И поклонился патриарху, как простолюдин: – Поживи, святейший, в Суботове сколько можешь. Помолись за душу казака Тимоша. Славный был казак, грехов на нем много. Помолись, святой отец, больше-то ничего для героя моего поделывать нельзя.

Земля под Чигирином показалась Макарию неудобной, мрачной. Болота, песчаные горы. Дикое место.

Суботов окружен рвами. Вокруг дворца окопы.

В первый же день по приезде к патриарху пришла со свитой жена Тимоша Роксанда.

На голове суконный колпак, опушенный соболем, в простом платье казачки. Заговорила сначала по-гречески, но увидала, что патриарх слушает с напряжением, поглядывая на сына Павла. Перешла на турецкий. Макарий изумился:

– Вы так свободно переходите с языка на язык!

– Все мои знания – моя судьба. Греческий – язык отца, валашский – язык родины. Турецкому неволя в Серале выучила, украинскому – несчастное замужество. Польский ради этикета в себя вталкивала, и Бог отгородил от меня Речь Посполитую стеной.

– Вам здесь плохо? – сорвался с патриарших губ мотылек жалости.

– Плохо, святейший! – улыбнулась так гордо и такой омут был в глазах ее, что патриарх посмотрел себе под ноги. – Я этого желала. Стремилась отхлебнуть из казачьей воли, а хлебнула собственной крови от побоев.

– Я буду молиться за тебя, дочь моя!

– Сначала, святейший, помолись за отца моих двойняшек. Они должны были вернуть утерянную любовь, но судьба и на этот раз обошлась со мной жестоко. Тимош так и не узнал, что он стал отцом.

Храм Святого Михаила был богат. На его строительство и украшение пошли сокровища армянских церквей, которые Тимош награбил в Молдавии.

Над гробницей висело развернутое знамя с портретом юного воителя. Был он верхом на коне, с мечом в правой руке, с гетманской булавой в левой. Тут же была изображена карта Молдавии, которой Тимош собирался владеть.

Макарий совершил торжественную панихиду. Вдова во всем черном недвижимо стояла у правого клироса. Платье будничное, стать княжеская.

Утром, перед отъездом патриаршего поезда, Роксанда вновь пришла к Макарию. Передала мешочек талеров на поминание Тимоша за упокой, себя за здоровье.

– Возьмите, святой отец, мои глаза, поглядите ими на Босфор, на Айя-Софию, на Галату, на всякий дом и на всякое дерево великого города! Истамбул был для меня чудовищем, но стал самым светлым воспоминанием. Это мой день, ибо впереди у меня только ночь.

Макарий дрожащей от волнения рукой благословил Роксанду, и глаза у нее сверкнули.

– Не жалею меня, святейший! Если Бог перенесет меня в иные земли, в иные страны, в сам рай земной, я Тимоша и Суботов буду поминать с любовью и ненавистью, как поминаю ныне Истамбул. С любовью и ненавистью.

Долго печаль Суботова лежала на сердце Макария.

## 11

30 июня государь, еще не зная об успехах Потемкина на Ладого, приказал боярину и воеводе Семену Лукьяновичу Стрешневу идти и взять город Диноборок. Чужеземные наименования для русского уха были непривычны, а потому писали эти города как у кого язык повернется: Диноборк, Динабург...

Желая быть ближе к ратям и битвам, того же 30-го числа Алексей Михайлович выступил с Дворовым полком и со всеми своими вельможами и священством в поход и 5 июля был в Полоцке.

Государя встречали крестным ходом, а игумен Богоявленского монастыря Игнатий Иевлич сказал царю торжественное приветственное слово.

В Полоцке государю стали приходить челобития и являться челобитчики с жалобами на московских ратников, которые грабят население, наведываются за Двину, разоряя подданных курляндского герцога, с которым царь в дружбе.

Алексей Михайлович тотчас послал Стрешневу строжайший наказ навести в полку порядок, чтоб никто из его солдат курляндских людей не грабил и не обижал.

Семен Лукьянович ответил не без досады. Его люди через Двину не переходят, обижать некого, потому что на добрых тридцать верст от реки пусто. «За нами присматривают, в Ригу сообщают», – писал Семен Лукьянович царствующему племяннику.

Жалобы приходили и от своих. Яков Куденетович Черкасский сообщал о тяжком пути к Динабургу: всюду болота, дороги зыбкие, вязкие. Обоз и пушки все время отстают.

Однако ж войска все ближе и ближе подходили к городам, и государь 8 июля отправился в местечко Сельцо, в Спасо-Преображенский монастырь, основанный преподобной Евфросинией Полоцкой. С государем поехали митрополит Крутицкий Питирим, Борис Иванович Морозов, Никита Иванович Одоевский и его сын Федор. Федор потерял цвет лица, кровь словно перестала греть его. Царь был сильно обеспокоен. Один из сыновей Одоевского умер у него на глазах.

– В монастыре есть дивный список с чудотворной иконы Ефесской Божией Матери, – сказал Алексей Михайлович Федору наедине. – Икона прислана от Константинопольского патриарха Луки самой Евфросинье. Помолись перед иконой с верою. Может, и пошлет Бог здорovia тебе на радость, отцу твоему в успокоение.

По дороге Алексей Михайлович посадил в свою карету пропыленного, белого как лунь странника.

– В монастырь идешь?

– В монастырь. Поживу хоть с месяц, ноги от дорог уж больно зудят.

– А разве монахини пускают в свой монастырь на житье мужчин?

– Так я в Богородицкий иду, в мужской. Его тоже матушка Евфросинья основала.

– Ты вот по белу свету ходишь... Велика ли слава у святой?

– Велика, государь! Сильная святая. Она, может, из русских-то женщин первая дошла до святого града Иерусалима. Там и предала Богу душу... Она ведь – княжна! – Старичок разошелся, распалился. – Знаешь, как в миру-то ее звали? Предслава. Отец ее, князь Георгий, мужа ей искал среди, как сам он, князей, а она избрала себе самого Иисуса Христа. В те поры монастырей женских в наших краях не было. Так она при Софийском соборе жила, книги переписывала. Великая была книжница. У нее и в монастыре монашки книги переписывали. Грамотеев было больше, чем нынче. Про нее, слышь-ка, что рассказывают. Она и в миру, в княжнах, все Богу молилась. Ей говорят: «Зря лоб бьешь, коли в царские одежды наряжена». А она перед охульниками платье-то скинула, а под платьем у нее власяница да железы.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.